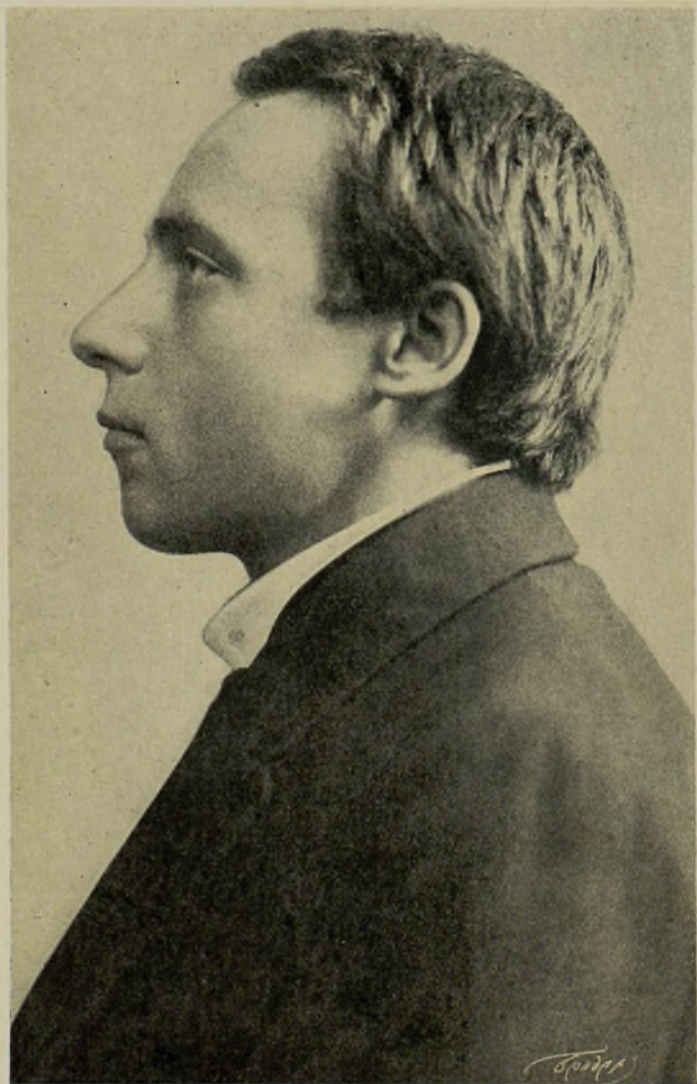


В. Алехин

14

Ленинградский Областлит № 5447
Тираж 2.500—20¹/₂ л. Заказ № 1059
Гос. типография им. Евг. Соколовой.
Ленинград, пр. Кр. Командиров, 29



В. Плескунъ

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

ТОМ I

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Ю. ТЫНЯНОВА И Н. СТЕПАНОВА

П О Э М Ы

Редакция текста
Н. Степанова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

О Б Л О Ж К А Р А Б О Т Ы М . К И Р Н А Р С К О Г О

В Н Е Ш Н Е Е О Ф О Р М Л Е Н И Е К Н И Г И П Р О В Е Д Е Н О
М . К И Р Н А Р С К И М И Г Р И Г . С О Р О К И Н Ы М

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Дать описание жизни Велимира Хлебникова — в настоящее время задача невыполнимая.

Отсутствие фактического материала, дат, документов и воспоминаний часто не позволяет осветить даже внешнюю сторону его биографии.

Глубина и сложность его внутренней жизни на долгое время останутся скрытыми от нас, так как все воспоминания современников запечатлели лишь внешние, часто анекдотические, черты его личности. Опубликование многих подробностей и фактов, кроме того, может быть преждевременным, пока они тщательно не проверены и многое еще слишком болезненно. Поэтому здесь даны лишь самые общие и объективные сведения, биографическая канва, далеко не полная и не всегда, может быть, точная.

Биография Велимира Хлебникова — дело будущего.

Велимир (Виктор) Владимирович Хлебников родился 28 октября ст. ст. 1885 г. в селе Тундутове в Астраханской губ., в Малодербетовском улусе, где его отец был попечителем округа.

Детство Виктора Владимировича прошло в самых благоприятных условиях, во многом способствовавших развитию его творческих дарований.

Отец В. В. — Владимир Алексеевич Хлебников — педагог и ученый-орнитолог. Владимир Алексеевич привил В. В. любовь к естественным наукам и дал ему серьезные познания в этой области. Мать В. В. — Екатерина Николаевна (урожд. Вербицкая) — близка была кругу революционеров 70 гг. Историк по образованию, она постоянно беседовала и занималась с В. В. по истории и литературе. Прекрасно зная музыку и благодаря обширным сведениям в искусстве, Е. Н. рано ввела его в круг современных ей художественных понятий

Всех детей было пятеро, и родители постоянно заботились об их воспитании и образовании: приглашались на дом лучшие

преподаватели (среди них были: художник П. П. Беньков, литератор Волжский, Н. П. Брюханов—ныне наркомфин, Э. П. Соловьев — ныне замнаркомздрава).

Почти все детство В. В. прошло среди природы: из Калмыцкой степи переехали в Волинскую губ., оттуда в село Панаево Симбирской губ. Читая В. В. выучился с 4 лет и читал всегда очень много как русских, так и французских книг. Из Панаева в 1897 г. его отправили в г. Симбирск в гимназию, куда он поступил в третий класс. Учился в гимназии он очень хорошо, в особенности по русскому и математике, но, живя на частной квартире, вдалеке от родных, сильно тяготился их отсутствием. Из Симбирской губ. Хлебниковы в 1898 г. переехали в Казань, и В. В. поступил там в 4 класс 3 гимназии.

В Казани В. В. стал сначала увлекаться рисованием, но потом к нему охладел, все больше и больше занимался литературой и начал писать сам.

Уже тогда его тяготила обывательская обстановка: он вынес из комнаты всю мебель, оставив кровать и стол, а на окна повесил рогожи. В такой обстановке он обычно жил повсюду и в дальнейшем. Приблизительно в это время, будучи еще гимназистом, он послал М. Горькому один из первых рассказов.

По окончании гимназии Хлебников поступает в 1903 году на математическое отделение Казанского университета, а в 1904 г. переходит на естественное отделение физико-математического факультета, где слушает лекции до конца 1907—1908 учебного года.

При поступлении в университет он был очень жизнерадостен, аккуратно посещал лекции и увлекался естественными науками, в особенности зоологией. Результатом занятий его в Казанском университете естественными науками явились научные статьи—вероятно первое, что было напечатано Хлебниковым: „Опыт построения одного естественно-научного понятия“ (о симбиозе и метабиозе)—в „Вестнике Студенческой Жизни“ и „О находении кукушки в Казанской губ.“—в „Прилож. к протокол. засед. Общ. Ест. Наук“, № 240, но это нуждается в проверке.

Должно быть около 1906 г. Хлебников получает научную командировку на Урал, откуда привозит большие коллекции.

8 ноября 1906 г., в день празднования годовщины университета,

В. В. принимал участие в общестуденческой демонстрации, за что был арестован и на месяц посажен в тюрьму. Заключение в тюрьме тяжело подействовало на В. В.: рвение к лекциям пропало, и он перестал ходить в университет. Приблизительно в то же время он примыкает к кружку революционеров, где замышляется какой-то неосуществившийся террористический акт — В. В. надлежало сыграть роль караульного солдата.

Здоровье В. В. настолько расстроилось, что весной 1908 г. он отправляется с родными в Крым для поправки, где все свое время проводит в купаньи и прогулках. Осенью 1908 г. В. В. уезжает в Петербург, и с этих пор начинаются его беспрестанные скитания и переезды. В Петербурге он поступает в университет на 3-й курс естественного отделения физико-математического факультета и поселяется вначале в Лесном, а затем на Васильевском острове.

В университете В. В. почти не занимается.

С осени 1909 г. он подает заявление о переводе его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, а вслед за этим переходит на 1-й курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета.

К 1908 г. относятся его первые литературные знакомства как с группой поэтов, объединявшейся вокруг „Аполлона“, так и с будущими футуристами. Вначале он сближается с кругом поэтов и теоретиков „Академии стиха“ и даже становится одно время членом ее (о чем пишет несколько раз родным). В письме от 23 октября 1909 г. он сообщает: „Буду участвовать в академии поэтов: Иванов, Кузмин, Брюсов, Маяковский — ее руководители“. В то же время он несколько раз упоминает, что стихи его должны быть напечатаны в очередных №№ „Аполлона“, приводит отзыв о себе В. Иванова: „кто-то [Иванов] сказал, что у меня есть гениальные строки“ и называет своим „учителем“ М. Кузмина.

В „Аполлоне“ стихов не напечатали, что крайне охладило и разочаровало В. В. и послужило одной из главных причин его разрыва с „Академией поэтов“; к этому же времени относится его знакомство с В. Каменским и Бурлюками. В 1908 г. В. В. приносит свои рукописи в редакцию журнала „Весна“ (издававшегося Н. Шебуевым), где секретарем редакции был В. Камен-

ский. Там происходит знакомство В. В. с Каменским. Стихи в „Весне“ напечатать не удалось; там помещен был в 1908 г. первый рассказ В. В. „Испытание грешника“.

Вскоре после знакомства с В. Каменским В. В. встречается с группой художников-новаторов: Бурлюками, Е. Гуро, М. Матюшиным. С этого времени начинаются постоянные встречи с ними и собрания кружка поэтов и художников на квартире у Е. Г. Гуро, на которых обсуждаются вопросы нового искусства. В 1909 г. собирается и издается первый сборник кружка — „Садок Судей“ (название было предложено В. В.). В. В. становится идейным и творческим центром этого кружка, хотя благодаря своей скромности и уединенности во всех внешних проявлениях и выступлениях держится в стороне, а роль организатора берет на себя Д. Бурлюк. Кружок назван был „будетлянским содружеством“, а будущие „футуристы“ — будетлянами. В 1-м „Садке Судей“ и почти одновременно в „Студии импрессионистов“ (Н. И. Кульбина) В. В. печатает свои произведения (многие из них написаны были раньше) — „Зверинец“, „Маркиза Дезес“, „Журавль“, „Усмейные смехачи“. После выхода 1-го „Садка Судей“ начинаются публичные выступления и споры, в которых В. В. почти не участвовал. В то же время он начинает заниматься своими вычислениями времени, бросает занятия в университете (исключается отсюда в 1911 г. за невнос платы), хотя попрежнему интересуется естественными науками.

Так, еще в 1910 г. он пишет родным о своем желании „высказаться о происхождении видов“. Но уже с этого времени он окончательно и всецело отдается литературе.

Время с 1910 по 1915 г. — жизни В. В. в Петербурге, Москве, Харькове, Астрахани, в Маячках (имение Бурлюков в Херсонской губ.), Алферове (где у него похищен деревенскими подростками большой мешок с рукописями „на цыгарки“), Красной поляне (Харьковской губ.) — наименее освещено в имеющихся материалах.

В. В. был занят мыслями об искусстве и в особенности вычислениями законов времени. Он мало обращал внимания на свои материальные нужды и бытовые мелочи. Молчаливость и замкнутость заставляли иногда забывать о его присутствии. Рассеянность и практическая неприспособленность Хлебникова

часто вовлекали его в затруднительные положения и давали повод к шутовым рассказам о нем. Работая целыми днями над изыскание чисел в Публичной библиотеке, В. . забывал пить и есть и иногда возвращался измученным от усталости и голода, но столь сосредоточенным, что его с трудом можно было оторвать от вычислений и усадить за стол. Очень много работая, он заполнял целые корзины рукописями, которые, путешествуя, оставлял в разных местах. Беспомощный в повседневной жизни, В. В. сразу вырастал, когда обсуждались вопросы искусства или философии. В. В. Хлебников стоял в центре нового движения, но никогда себя не выдвигал. В конце 1912 г. выходят: „Пощечина“ и 2-й „Садок Судей“, где напечатаны такие вещи, как „Гибель Атлантиды“, „Шаман и Венера“, „И и Э“. За эти годы В. В. постоянно ездит из Петербурга в Москву, Астрахань, Алферово. Окружают его, главным образом, Д. и Н. Бурлюки, Крученых, Каменский, Маяковский, Е. Гуро, М. Матюшин — круг деятелей нового искусства.

В 1916 г. В. В. живет в Москве и задумывает организацию „Государства Времени“, куда, подобно платоновскому государству ученых, должны входить лучшие люди эпохи — революционеры, поэты, ученые — „председатели земного шара“, — числом 317 человек. Тогда же печатаются его стихи в сборнике „4 птицы“ и рассказ „Ка“ в „Московских Мастерах“.

В том же году он поселяется вместе с Дм. Петровским в маленькой комнате на Николо-Песковской (этот период довольно подробно описан Петровским в его воспоминаниях). Весною 1916 года Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в Царицын в 93-й запасный полк. Военная служба очень тяжело ощущалась В. В., как насилие над его личной свободой и жизненным ритмом. Он из Царицына дважды пишет Н. И. Кульбину (бывшему врачу), прося освободить его из ужасающей обстановки лазарета „чесоточной команды“ :

Николай Иванович !

Я пишу Вам из лазарета „чесоточной команды“. Здесь я временно освобожден от в той мере несвойственных мне занятий строю, что они кажутся казнью и утонченной пыткой, но положение мое остается тяжелым и неопреде-

ленным. Я не говорю о том, что, находясь среди 100 человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем до проказы вкл. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я другой — не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло оправдание другого зла и их цепи? Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. Шаги, приказания, убийство моего ритма, делают меня безумным к концу вечерних занятий и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углубленности, я совершенно лишен возможности достаточно быстро и точно повиноваться.

Как солдат я совершенно ничто. За военной оградой я ничто. Хотя и с знаком вопроса, — и именно то, чего России недостает: у ней было очень много в начале войны хороших солдат (сильных, выносливых животных, не рассуждая повинующихся и расстающихся с рассудком, как с усами). И у ней мало или меньше других. Прапорщиком я буду отвратительным. А что буду делать с присягой — я, уже давший присягу Поэзии? Если поэзия подскажет мне сделать из присяги каламбур, остроуту. А рассеянность? На военной службе я буду только в одном случае на месте, если бы мне дали в нестроевой роте сельскую работу (ловить рыбу) на плантациях или ответственную и увлекательную службу на воздушном корабле „Муромец“. Но это второе невозможно. А первое, хотя вполне сносно, но глупо. У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства, т.-е. земледельцев. Таким образом, побежден-

ный войной я должен буду сломать свой ритм (участие Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе.

Благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка.

Где место Вечной Женственности под снарядами тяжелой 45-см. ругани?

Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены.

Кроме того, я должен становиться на путь особых прав и льгот, что вызывает неприязнь товарищей, не понимающих других достаточных оснований, кроме отсутствия ноги, боли в животе. Я вырван из самого разгара похода за будущее.

И теперь недоумеваю, что дальше.

Через несколько месяцев Хлебникову удастся освободиться от военной службы, и он возвращается в Астрахань, откуда незадолго до Февральской революции он переезжает в Харьков, где им в 1917 г. были изданы „Труба Марсиан“ и „Временник 2-й“ с манифестом-поэмой о „Государстве Времени“.

После Февральской революции, в начале 1917 г., В. В. приезжает в Петербург, а в дни Октябрьского переворота отправляется в Москву. В Петербурге и Москве В. В. проявлял ко всему совершавшемуся огромный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в самых опасных местах, среди уличных боев и выстрелов (Октябрь описан им самим в статье „Октябрь на Неве“). Он продолжает в то же время организовывать „Государство Времени“, вербуя в него самых разнообразных людей. В Москве В. В. приглашается Филипповым для редактирования проектировавшегося журнала по литературе и искусству. К своим обязанностям редактора В. В. относился очень строго и ревнительно. В это время он живет в Москве у Филиппова и собирается писать роман.

В силу технических препятствий журнал не осуществился, а скитальческий дух вел В. В. к дальнейшим странствованиям. В том же 1917 году он направляется на Украину, где проводит 1918,

1919 и начало 1920 года, живя главным образом в Харькове и иногда в Ростове. В эти годы живет ему очень тяжело, он часто голодает и болеет, но продолжает много работать. В этот период в Харькове им созданы такие грандиозные вещи, как „Ночь в окопе“, „Поэт“, „Ладомир“ и мн. др., и написана большая статья „Наша основа“, излагающая основы его поэтических и философских взглядов. Жил он в это время в крохотной, холодной комнатке, часто не имея самого необходимого, даже без света. Ходил он заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал по больницам, перенес два тифа, две тюрьмы (и белые и красные принимали его за шпиона, т. к. он не имел документов). В это время он чаще всего встречается с Г. Н. Петниковым и Дм. Петровским. Вот письмо 1919 года (вернее записка на коробке от гильзы) к Г. И. Петникову, посланное им из больницы:

Я буду до следующего вторника. Приходите и раньше до 28 октября.

... Голод, как сквозняк, соединит Сабур.[ову дачу¹] и Ст. Московск.[ую]

Пользуйтесь редким случаем и пришлите конверты, бумагу, курение и хлеба и картофель.

И да благо вам будет и да долготелен вы будете на земле! Алаверды. Дело такта изобрести еще что-нибудь. Если есть книги для чтения (Джером Джером), то и их.

Мы.

В октябре 1920 года В. В. перебирается в Баку, где попадает в круг бакинских футуристов, часто встречается с Вячеславом Ивановым, с которым ведет постоянные споры. В Баку он поступил на службу в отделение Росты и составлял подписи под плакатами и стихи для газеты. В июне 1921 года В. В. отправляется с Красной армией в Персию в качестве прикомандированного к штабу. Он продельывает с Красной армией весь поход на Тегеран, находясь в постоянном общении с Р. П. Абигом и с художником М. В. Доброковским. Пробыв в Персии с июня по август (подробнее см. примечания

¹ Больница в Харькове.

Р. П. Абиха к „Трубе Гуль-муллы“), он возвращается в августе 1921 г. в Баку, откуда переезжает в Пятигорск, где устраивается на службу ночным сторожем при Кавросте. За время пребывания в Персии В. В. много работал над „строением времени“ (в результате статья „О строении времени“), писал стихи (первоначальные наброски к „Трубе Гуль-муллы“) и знакомился с Персией. В Пятигорске он сотрудничал в газете и находился в сравнительно сносных условиях, даже начал лечиться. Осенью 1921 г., не кончив лечения, несмотря на голод он отправляется в Москву, стремясь напечатать свои произведения.

К рукописям В. В. относился очень заботливо, постоянно возил их с собой (это был его единственный багаж), иногда лишь давая их на хранение; в особенности он заботился об участии своих вычислений.

В Москве В. В. предпринимает ряд попыток для издания своих произведений, но все они кончаются неудачей. В. В. особенно тяжело переживал крушение своих издательских планов.

Разойдясь с прежними соратниками и последователями, он поселяется у художника П. В. Митурича, с которым сближается в этот год своей жизни. Последние месяцы проходят в непрерывной работе над „Досками судьбы“, стихами и прозой, и в грандиозных планах о будущем человечества.

С помощью П. В. Митурича он готовится к печати „Зангези“, который вышел через несколько дней после его смерти.

Голодное существование и расстроенное здоровье заставляют его думать о поездке на юг, на Волгу. Весной 1922 года П. В. Митуричу удается устроить поездку в дер. Санталово Новгородской губ., куда В. В. решает отправиться с ним на две недели от голодной московской жизни, так как по истечении этого времени представлялась возможность получить бесплатный проезд в Астрахань.

Вскоре по приезде в Санталово В. В. тяжело заболел и, проболев месяц, в ужасных страданиях умер 28 июня 1922 г.

Похоронен он был там же, в деревне Ручьях, в левом углу погоста.

Материалом для настоящей биографической справки послужили: воспоминания Д. Петровского („Повесть о Хлебникове“),

Т. Вечорка („Хлебников в Баку“), Дм. Козлова („Хлебников на Кавказе“ — „Красная Новь“, № 8, 1927) и не напечатанные воспоминания и устные рассказы: матери В. В. — Е. Н. Хлебниковой, сестры его — В. В. Хлебниковой, П. В. Митурича, Р. П. Абиха, В. В. Каменского, М. В. Матюшина, Г. Н. Петникова и М. А. Кузмина, а также некоторые письма В. В. к родным, к Н. И. Кульбину, М. В. Матюшину и Г. Н. Петникову.

О Х Л Е Б Н И К О В Е

Ю Р И Й Т Ы Н Я Н О В

Говоря о Хлебникове, можно и не говорить о символизме, футуризме, и необязательно говорить о зауми. Потому что до сих пор, поступая так, говорили не о Хлебникове, но об „и Хлебникове“: „Футуризм и Хлебников“, „Хлебников и заумь“. Редко говорят: „Хлебников и Маяковский“ (но говорили) и часто говорят: „Хлебников и Крученых“.

Это оказывается ложным. Во-первых и футуризм и заумь вовсе не простые величины, а скорее условное название, покрывающее разные явления, лексическое единство, объединяющее разные слова, нечто вроде фамилии, под которой ходят разные родственники и даже однофамильцы.

Не случайно ведь Хлебников называл себя б у д е т л я н и н о м (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово.

Во-вторых, и это главное, обобщение производится в разное время по разным признакам. Общего лица, человека вообще — не существует: он равняется по возрасту в школе, по росту в роте. В статистике военной, медицинской, классовой один и тот же человек числится по разным графам. Время идет — и время изменяет обобщения. И наконец приходит время, требующее лица. О Пушкине писали как о поэте романтизма, о Тютчеве — как о поэте „немецкой школы“. Так было понятнее для рецензентов и удобнее для учебников. Течения распадаются на школы, школы сужаются в кружки. В 1928 году русская поэзия и литература хочет увидеть Х л е б н и к о в а.

Почему? Потому, что внезапно выяснилось одно „и“ гораздо большего размера: „современная поэзия и Хлебников“ и назревает другое „и“: „современная литература и Хлебников“.

огда умер Хлебников, один крайне осторожный критик, именно может быть по осторожности, назвал все его дело „несуразными попытками обновить речь и стих“ и от имени „не только литературных консерваторов“ объявил ненужною его „непоэтическую поэзию“. Все зависит, конечно, от того, что разумел критик под словом литература. Если под литературой разуместь периферию литературного и журнального производства, легкость осторожных мыслей, он прав. Но есть литература на глубине, есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными, сознательными „ошибками“, с восстаниями решительными с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом деле бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений.

Обычно представление, что учитель prepares приятие учеников. На самом же деле совершается обратное: Тютчева подготовили для восприятия и приятия Фет и символисты. То, что казалось у Тютчева смелым, но не нужным в эпоху Пушкина, казалось безграмотностью Тургеневу, — Тургенев исправлял Тютчева, поэтическая периферия выравнивала центр. Только символисты восстановили истинное значение метрических „безграмотностей“ Тютчева. Так — говорят музыканты — „исправлялись“ „безграмотности“ и „несуразности“ Мусоргского, полуизданного до сих пор. Все эти безграмотности безграмотны, как фонетическая транскрипция по сравнению с правописанием Грота. Проходит много лет подземной, спрятанной работы ферментирующего начала, пока на поверхность может оно выйти уже не как „начало“, а как „явление“.

Голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался: он уже ферментировал поэзию одних, он дал частные приемы другим. Ученики подготовили появление учителя. Влияние его поэзии — факт совершившийся. Влияние его ясной прозы — в будущем.

Верлен различал в поэзии „поэзию“ и „литературу“. Может быть, есть „поэтическая поэзия“ и „литературная поэзия“. В этом смысле поэзия Хлебникова, несмотря на то что ею негласно питается теперешняя поэзия, может быть более близка не ей, а, напр., теперешней живописи. (Я говорю здесь не о всей, разумеется, теперешней поэзии, а о мощном, внезапно вырисовавшемся, русле серединной журнальной поэзии). Как бы то ни было, теперешняя поэзия подготовила появление Хлебникова в литературе.

Как случается олитературение, внедрение в литературную поэзию поэзии поэтической? Баратынский писал:

Сначала мысль воплощена
 В поэму сжатую поэта,
 Как дева юная темна
 Для невнимательного света;
 Потом, осмелившись, она
 Уже увертлива, речиста,
 Со всех сторон своих видна,
 Как искушенная жена,
 В свободной прозе романиста;
 Болтунья старая, затем
 Она, подъемля крик нахальный,
 Плодит в полемике журнальной
 Давно уж ведомое всем.

Если отбросить укоризненный и язвительный тон поэта-аристократа, останется формула, один из литературных законов. „Дева юная“ сохраняет свою юность несмотря на прозу романиста и журнальную полемику. Она только более не темна для невнимательного света.

Мы живем в великое время; вряд ли кто-либо всерьез может в этом сомневаться. Но мерило вещей у многих вчерашнее, у других домашнее. Трудно постигается величина. То же и

в литературе. Достоевский писал Страхову по поводу книги его о Лье Толстом, что со всем согласен в этой книге, только с одним не согласен: что Толстой сказал новое слово в литературе. Это было уже тогда, когда появилась „Война и мир“. По мнению Достоевского ни Лев Толстой, ни он, Достоевский, ни Тургенев, ни Писемский не сказали нового слова. Новое слово сказали Пушкин и Гоголь. Достоевский говорил так не из скромности. У него было большое мерило, а потом—и это главное—трудно современнику увидеть величину современности и еще труднее — увидеть новое слово в ней. Вопрос о величине решается столетиями. У современников всегда есть чувство неудачи, чувство, что литература не удастся, и особой неудачей является всегда новое слово в литературе. Сумароков, талантливый литератор, говорил о гениальном писателе Ломоносове: „убожество рифм, затруднение от неразности литер, выговора, нечистота стопосложения, темнота склада, рушение грамматики и правописания, и все то, что нежному упорно слуху и неповрежденному противно вкусу“.

Он избрал девизом стихи:

Излишество всегда есть в стихотворстве плеснь:
Имей способности, искусство и прилежность.

Стихи Ломоносова и были и остались непонятными, „бесмысленными“ в своем „излишестве“.

Это была неудача.

Соком Ломоносова была жива литература XVIII века, Державин. Борьбою его и Сумарокова воспиталась русская поэзия, включая Пушкина. В 20-х годах Пушкин дипломатически избавлял еще его от „почестей модного писателя“, но изучал его внимательно. И строфы Ломоносова использовал еще Лермонтов. Вспышки Ломоносова — то тут, то там в стиховой стихии XIX века.

За Ломоносовым была химия, была великая наука. Но не будь ее, он был бы, вероятно, как поэт, явлением опальным. Не нужно бояться собственного зрения: великая неудача Хлебникова была новым словом поэзии. Предугадать размеры его ферментирующего влияния пока невозможно.

Хлебников сам знал свою судьбу. Смех был ему не страшен. В „Зангези“, романтической драме (в том значении, в котором употреблял это слово Новалис), где математические выкладки стали новым поэтическим материалом, где цифры и буквы связаны с гибелью городов и царств, жизнь нового поэта с пенем птиц, а смех и горе нужны для нешуточной иронии, Хлебников в голосах прохожих дает голоса своих критиков:

„Дурак. Проповедь лесного дурака“...

„Он мило виден. Женствен. Но долго не продержится“.

„Бабочкой захотелось быть, вот чего хитрец захотел“.

„Сырье, настоящее сырье его проповедь. Сырая колода“.

„Он божественно врет. Он врет, как соловей ночью“.

„Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь камаринскую!

Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого.

Что поделаешь — время послеобеденное“.

А мыслитель отвечает: „Я таковичь“.

Там же Хлебников говорит:

Мне, бабочке, задетевшей
 В комнату человеческой жизни,
 Оставить почерк моей пыли
 По суровым окнам подписью узника.

Почерк Хлебникова был действительно похож на пыльцу, которой осыпается бабочка. Детская призма, инфантилизм поэтического слова сказывались в его поэзии не „психологией“, — это было в самых элементах, в самых небольших фразовых и словесных отрезках. Ребенок и дикарь были новым поэтическим лицом, вдруг смешавшим твердые „нормы“ метра и слова. Детский синтаксис, инфантильные „вот“, закрепление мимолетной и необязательной смены словесных рядов — последней обнаженной честностью боролись с той нечестной литературной фразой, которая стала далека от людей и ежеминутности.

Напрасно применять к Хлебникову слово, кажущееся многим значительным: „искания“. Он не „искал“, он „находил“. Поэтому его отдельные стихи кажутся простыми находками, столь же простыми и незаменимыми, как были для своего века отдельные стихи „Евгения Онегина“:

Как часто после мы жалеем
О том, что раньше бросим.

8

Хлебников был новым зрением. Новое зрение одновременно падает на разные предметы. Так не только „начинают жить стихом“, по замечательной формуле Пастернака, но и жить эпосом.

И Хлебников—единственный наш поэт-эпик XX века. Его лирические малые вещи — это тот же почерк бабочки, внезапные, „бесконечные“, продолженные вдаль записки, наблюдения, которые войдут в эпос — или сами, или их родственники.

В самые ответственные моменты эпоса — эпос возникает на основе сказки. Так возникла „Руслан и Людмила“, определившая путь пушкинского эпоса и стиховой повести XIX века; так возник и демократический „Руслан“ — некрасовское „Кому на Руси жить хорошо“.

Языческая сказка — первый эпос Хлебникова. Новая „легкая поэма“ в допушкинском смысле этого термина, почти анакреонтическая („Повесть каменного века“), новая сельская идиллия („Венера и Шаман“, „Три сестры“, „Лесная тоска“) даны нам Хлебниковым. Разумеется, те, кто прочтут „Ладомир“, „Уструг Разина“, „Ночь перед Советами“, „Зангези“, отнесутся к этим поэмам как к юношеским вещам поэта. Но это не умаляет и их значения. Такой языческий мир, близкий к нам, копошащийся вблизи, незаметно сливающийся с нашей деревней и городом, мог построить художник, словесное зрение которого было новое, детское и языческое:

Голубые цветы,
В петлицу продетые Ладою.

Хлебников — не коллекционер тем, задающихся ему извне. Вряд ли для него существует этот термин — заданная тема, задание. Метод художника, его лицо, его зрение — сами вырастают в темы. Инфантилизм, языческое отношение к слову, незнание нового человека естественно ведет к язычеству как к теме. Сам Хлебников „предсказывает“ свои темы. Нужно учесть силу и цельность этого отношения, чтобы понять, как Хлебников, революционер слова, „предсказал“ в числовой своей поэме революцию.

Жестокие словесные бои футуризма, опрокидывавшие представление о благополучии, о медленной и планомерной эволюции слова, были, разумеется, не случайны. Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное, ежеминутное оттесняется „тарю“ литературного языка и объявлено „случайностью“. И вот случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства.

Так бывает и в науке. Маленькие ошибки, „случайности“, объясняемые старыми учеными как отклонение, вызванное несовершенством опыта, служат толчком для новых открытий: то, что объяснялось „несовершенством опыта“, оказывается действием неизвестных законов.

Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова: он не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя из случайных смещений.

Новое зрение, очень интимное, почти инфантильное („бабочка“), оказалось новым строем слов и вещей.

Его языковую теорию, благо она была названа „заумью“, поспешили упростить и успокоились на том, что Хлебников создал „бесмысленную звукречь“. Это неверно. Вся суть его теории в том, что он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет неокрашенного

смыслом звучания, не существует отдельно вопроса о „метре“ и о „теме“. „Инструментовка“, которая применялась как звукоподражание, стала в его руках орудием изменения смысла, оживления давно забытого в слове родства с близкими и возникновения нового родства с чужими словами.

11

„Мечтатель“ не разделял быта и мечтания, жизни и поэзии. Его зрение становилось новым строем, он сам — „путейцем художественного языка“. „Нет путейцев языка,—писал он: — кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного художественного языка свободна от таких путешествий?“ Он проповедует „взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка“. Те, кто думает о его речи, что она „бессмысленна“, не видят, как революция является одновременно новым строем. Те, кто говорят о „бессмыслице“ Хлебникова, должны пересмотреть этот вопрос. Это не бессмыслица, а новая семантическая система. Не только Ломоносов был „бессмыслен“ („бессмыслица“ эта вызвала пародии Сумарокова), но есть пародии (их много) на Жуковского, где этот поэт, служащий теперь букварем детям, осмеивается как бессмысленный. Фет был сплошной бессмыслицей для Добролюбова. Все поэты, даже частично менявшие семантические системы, бывали объявляемы бессмысленными, а потом становились понятными — не сами по себе, а потому что читатели поднимались на их семантическую систему. Стихи раннего Блока не стали понятнее сами по себе; а кто их теперь не „понимает“? Те же, кто все-таки центр тяжести вопроса о Хлебникове желают опереть именно на вопрос о поэтической бессмыслице, пусть прочтут его прозу: „Николай“, „Охотник Уса-Гали“, „Ка“ и др. Эта проза, семантически ясная как пушкинская, убедит их, что вопрос вовсе не в „бессмыслице“, а в новом семантическом строе и что строй этот на разном материале дает разные результаты — от х л е б н и к о в с к о й „зауми“ (смысловой, а не бессмысленной) до „логики“ его прозы.

Ведь если написать доподлинно лишённую „смысла“ фразу в безукоризненном ямбе — она будет почти „понятна“. И сколько

грозных „бесмыслиц“ Пушкина, явных для его времени, потускнело для нас из-за привычности его метра. Например:

Две тени милые, два данные судьбой
Мне ангела во дни былые...
Но оба с крыльями и с пламенным мечом
И стерегут и мстят мне оба.

Многие ли задумались над тем, что крылья совершенно незаконно являются здесь грозным атрибутом ангелов, противопоставленным их милому значению, крылья, которые сами по себе никак не грозны? И насколько эта „бесмыслица“ углубила и расширила ход ассоциаций? А тонкая подлинная запись человеческого разговора без авторских ремарок будет выглядеть бессмысленно; а переменная система стиха (то ямба, то хорей, то мужское, то женское окончание) даст даже традиционной стиховой речи переменную семантику, переменный смысл.

Хлебниковская стиховая речь — это не конструктивная клейка, это — интимная речь современного человека, как бы подслушанная со стороны, во всей ее внезапности, в смешении высокого строя и домашних подробностей, в обрывистой точности, данной нашему языку наукой XIX и XX веков, в инфантилизме городского жителя. В настоящем издании приводятся комментарии человека, знавшего Хлебникова во время странствий его по Персии, к его поэме „Гуль-Мулла“ — и каждый мимолетный образ оказывается точным, только не „пересказанным“ литературно, а созданным вновь.

12

Перед судом нового строя Хлебникова литературные традиции оказываются распахнутыми настежь. Получается огромное смещение традиций. „Слово о Полку Игоре“ вдруг оказывается более современным, чем Брюсов. Пушкин входит в новый строй не в тех окаменелых, неразжеванных сгустках, которыми щеголяют стилизаторы, а преображенный:

Видно, так хотело небо
Року тайному служить,

Чтобы клич любви и хлеба
Всем бывающим вложить.

Ода Ломоносова и Пушкин, „Слово о Полку Игореве“ и пере-кликающаяся с Некрасовым „Собакевна“ из „Ночи перед Советами“—неразличимы как „традиции“: они включены в новую систему.

Новый строй обладает принудительной силой, он стремится к расширению. Можно быть разного мнения о числовых изысканиях Хлебникова. Может быть, специалистам они покажутся неосновательными, а читателям только интересными. Но нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа—пусть даже неприемлемая для науки,—чтобы возникали в литературе новые явления. С совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии.

Хлебников потому и мог произвести революцию в литературе, что строй его не был замкнуто литературным, что он осмыслял им и язык стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой истории, что для него были близки методы литературной революции и исторических революций. Пусть его числовая историческая поэма и не является научной и пусть его угол зрения — только поэтический угол зрения, „Ладомир“, „Уструг Разина“, „Ночь перед Советами“, XVI отрывок „Запгеги“, „Ночной обыск“ — может быть наиболее значительное, что создано в наших стихах о революции.

Если в пальцах запрятался нож,
А зрачки открывала настезью месть,
Это время завывало: даешь,
А судьба отвечала послушная: есгь.

13

Поэзия близка к науке по методам — этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям. Тот поэт, который обращается со словом, стихом, как с вещью, употребление которой ему давно известно (и даже слегка

надоело), — отнесется к вещи быта тоже как к безнадежно старой, как бы нова она ни была.

Поэза поэта требует обычно либо взгляда на вещи сверху вниз (сатира), либо снизу вверх (ода), либо закрытого взгляда (песня). Есть поэты, которые смотрят в сторону, и есть поэты, которые никуда не смотрят. Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание. Поэтому для него нет „низких“ вещей. Деревенские поэмы его вовсе не дают деревни под взглядом дачника (ср. нашу „деревенскую лирику“); „Труба Гуль-Муллы“ не дает Востока под взглядом любителя-европейца: ни снисходительности, ни излишнего уважения. Вплотную и вровень.

Это было в самой его стиховой речи.

Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатажирующий ловкач. Он, как ученый, переоценивает языковые измерения: диалекты. Харьковское „ракло“, годное лишь для юмористики, входит как равноправный гость в оду: „Раклы, безумцы и галахи“.

Древние европейские вещи замешиваются в современную речь, географически и исторически ее расширяя.

У него нет „поэтического хозяйства, у него „поэтическая обсерватория“.

14

Так поэтическое лицо Хлебникова менялось: мудрец Зангези, лесной язычник, поэт-ребенок, Гуль-Мулла (священник цветов), дервиш-урус, как звали его в Персии, был одновременно и путейцем слова.

Биография Хлебникова — биография поэта вне книжной и журнальной литературы, по-своему счастливого, по-своему несчастного, сложного, иронического, „нелюдимого“ и общительного — закончилась страшно. Она связана с его поэтическим лицом. Как бы ни была странна и поразительна жизнь странствующего и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить его поэзию. Не нужно отделяться от человека его биографией. В русской литературе нередки эти случаи. Веневитинов, поэт сложный и любопытный, умер

22 лет, и с тех пор о нем помнили твердо только одно: что он умер 22 лет.

15

Ни в какие школы, ни в какие течения не нужно зачислять этого человека. Поэзия его так же неповторима, как поэзия любого поэта. И учиться на нем можно только проследив пути его развития, его отправные точки, изучив его методы. Потому что в этих методах—мораль нового поэта. Это мораль внимания и небоязни, внимания к „случайному“ (а на деле — характерному и настоящему), подавленному риторикой и слепой привычкой, небоязни поэтического честного слова, которое идет на бумагу без литературной „тары“, небоязни слова необходимого и не заменимого другим, „не собирающегося у соседей“, как говорил Вяземский.

А если слово это детское, если иногда самое банальное слово честнее всего? Но это и есть смелость Хлебникова—его свобода. Все без исключения литературные школы нашего времени живут запрещениями: этого нельзя, того нельзя, это банально, то смешно. Хлебников же существовал поэтической свободой, которая была в каждом данном случае необходимостью.

Т В О Р Ч Е С Т В О
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ

Но ведь страшно и непонятно, как один человек может поднять такую тяжесть.

В. Хлебников.

1

Хлебников сейчас заново входит в литературу. Он слишком далеко опередил свое время, чтобы остаться в его пределах. Поэтому он гораздо ближе прошлому и будущему. Поэтическая судьба его сложилась неудачно и несправедливо: Хлебникову не оказалось места, история обошла его. Литературная обстановка сложилась так, что „понадобилась“ только малая часть сделанного им.

До сих пор Хлебников был „поэтом для поэтов“, которые единогласно признали его гениальным и определившим своим творчеством на долгое время развитие русской поэзии¹. Не только значение, но даже самая известность Хлебникова в значительной степени превышают знакомство с ним и понимание его, так как несмотря на признание его гениальности наследие его не только не собрано, но даже напечатанное сделалось библиографической редкостью².

Литературный переворот, произведенный Хлебниковым, и огромная творческая работа его прошли незамеченными для широкого

¹ Привожу мнения столь различных поэтов:

Д. Бурлюк. „Хлебников хаотичен — ибо он гений“.

Вяч. Иванов. „Велимир — безусловно гениален. Он подобен автору «Слова о полку Игореве», чудом дожившему до нашего времени“.

О. Мандельштам. „Хлебников возится со словами как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие“.

М. Кузмин. „Это был гений и человек больших прозрений“.

² Невольно приходится удивиться той точке зрения, которая провозглашена была Маяковским. В. Маяковский („Красн.

круга читателей. Творчество его рассматривалось как лаборатория современной поэзии, но не как сама поэзия. Хлебников до сих пор был заслонен лесами футуризма, а признанные, более доступные, поэты занимали и занимают центральное место в глазах читателя и критики. Шумиха и внешний эффект слома, произведенного футуристами в 1909 — 13 годах, самая обстановка литературного скандала отпугнули читателя от Хлебникова, исказили его поэтический облик в призме раннего футуризма.

С другой стороны, соратники и сотоварищи Хлебникова — футуристы — пропагандировали те стороны его творчества, которые были им исторически нужны, используя Хлебникова сообразно своему пониманию. Примером такого „обуженного“ и поверхностного понимания может служить хотя бы В. Маяковский: „У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей — фикция. Видимость законченности — дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове“. („Красная Ночь“, № 4/8, 1923).

Наличие огромного количества „законченных“ и цельных поэм такой значимости, как „Ладомир“, „Ночь в окопе“, „Зангези“, „Ночной обыск“ и мн. др., лишает утверждение Маяковского элементарной правдивости.

Фрагменты, как увидим, — действительно излюбленная форма поэтических заготовок Хлебникова (напр. „Война в мышеловке“, смонтированная из отдельных фрагментов). Но, не говоря уже о том, что самая „фрагментарность“ может быть поэтическим

Ночь“, № 4/8, 1923 г.) говорит о небывалом мастерстве Хлебникова, но при этом заканчивает свой некролог следующим воззванием: „Бросьте наконец... почитания посмертными изданиями! Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!“ Маяковский считает первое издание произведений Хлебникова средством „угробить“ (!) его стихи (о чем пишет, при известии о подготавливаемом издании, в № 1 „Нов. Лефа“ за 1928 г.). Непонятно, как писателя, не имевшего ни одного прижизненного издания (т.-е. „угробленного“), может угробить посмертное издание?

методом (как и было у Хлебникова), даже в первый период его творчества им создано столько „классических“ монументальных вещей („Шаман и Венера“, „Хаджи-Тархан“, „Гибель Атлантиды“ и др.), что говорить о конструкции Хлебникова как о деле его друзей не приходится. Подлинные рукописи убеждают, что „дружеская клейка“ как-раз и создала легенду о незаконченности и хаотичности всего Хлебникова¹.

Рукописи как раннего, так и позднейших периодов свидетельствуют о тщательной и многократной шлифовке Хлебниковым своих произведений, а отнюдь не о безразличном или небрежном к ним отношении.

Для Маяковского и футуристов Хлебников важен своей разрушительной ролью, важен как дезорганизатор традиций — поэтому основные, законченные вещи Хлебникова прошли мимо самого футуризма. Не приходится говорить о рядовом читателе, для которого Хлебников неразрывно ассоциировался с чудачествами и нелепостями и воспринимался с комической точки зрения². Теперь, когда эпоха футуризма завершена, мы, подводя итоги ему, можем рассматривать прошлое с исторической объективностью. Настало время нового, углубленного, понимания Хлебникова, когда он входит в сознание читателя иными, притом наиболее важными, сторонами своего творчества. Мы имеем как бы двух Хлебниковых: одного исторического — эпохи футуризма, а другого — современного, понимание которого еще только начинается.

Совершенно правильно определил соотношение раннего футуризма и Хлебникова В. Каменский в своем предисловии к „Творениям“ Хлебникова в 1914 г.:

„Гений Хлебникова настолько безбрежен в своем разливе словоокеана, что нам, стоящим у берега его творчества, вполне доста-

¹ Так напечатаны все отдельные сборники Хлебникова („Творения“, „Ряв“, „Изборник“); традицию эту продолжил в 1923 г. Леф, напечатав с выпусками „Уструг Разина“ и др.

² Сигнал к обывательски-юмористическому восприятию Хлебникова был дан А. Измайловым в фельетоне: „Усмейные смехачи“, или „Курам на смех“ — в „Веч. Бирж. Вед.“, 1910 г., № 11717.

точно и тех прибойных волн, которые заставляют нас преклоняться перед раскинутым величием словопостижения“.

Ранний футуризм использовал эти „прибойные волны“ его творчества, идя в то же время своими собственными путями, во многом совершенно отличными от путей Хлебникова.

Футуризм и Хлебников — понятия, не покрывающие друг друга. Футуризм вырос в литературное направление значительно позже начала работы Хлебникова (первые — опубликованные, правда, позднее — вещи Хлебникова относятся к 1905 — 6 гг.¹).

Футуристы определяли свои теоретические позиции и сгруппировались как направление, противопоставляющее себя символистам, лишь к 1912-13 году².

До этого времени не было ясного понимания лозунгов „нового искусства“, вокруг которых объединилась группа молодых поэтов и художников в 1908—9 гг. В своих первых стихах Бурлюки и Каменский являются в значительной мере эпигонами и продолжателями символизма. Осознание „эпигонства“ и „банальности“ как средства разрушения эстетики символизма пришло позже. Борьба за место в литературе и борьба с канонизовавшейся эстетикой символизма, осознанная теоретически, приводят к созданию собственной „эстетики“, к самоопределению в „школу“. Так возникает футуризм, теоретические позиции которого и даже „программная практика“ основаны на борьбе с символизмом. Эстетика футуризма требовала не только „слома“, разрушения уже стабилизовавшихся лирических жанров символизма, но, в первую очередь, заново ставила вопрос об отношении к поэтическому слову и искусству вообще. Отсюда выдвигание на первое место „технической“, „рабочей“ стороны слова и искусства и требования эстетической „затрудненности“³. Понятно

¹ См. „Училища“ 1905 г. (в „Творениях“), „Снежини“ 1906 г. (в „Весеннем Контрагентстве“ 1914 г.), „Зверинец“ 1906 г. (в „Садке Судей“ 1909 г., П., кн. I).

² „2-й Садок Судей“ с манифестом (1912 г.) и „Пощечина“ (1913 г.) готовились в 1912 г.

³ Чтобы писалось туго и читалось туго, „неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной“. „Слово как таковое“, Крученых — Хлебников, 1913 г.

повтому, что футуристы охотно печатают заготовки и материалы вместо прежних „сгладившихся“ лирических стихов. Из этого вырастает А. Крученых, не боящийся откровенно плохих стихов и вещей — „подобных рассыпанному типографскому набору“¹. Несомненно, самой „боевой“ и популярной фигурой раннего футуризма был он. Повтому и Хлебников для начального периода футуризма был лишь разрушителем символизма и выдвигался как „заумник“ и смелый экспериментатор. „Усмейные смехачи“ и „Бэобэби“ казались самым важным у Хлебникова и были всем известны. Повтому, наконец, печатались „имена действующих лиц“, списки слов и отрывки, не предназначенные к печати. Хлебников нужен был сырой, рассыпающийся; нужна была его писательская корзина.

„Угловатость“ поэзии Хлебникова, ее „сдвиги“ соответствовали выдвинутой литературной программе, и футуристы расселились во владениях, завоевываемых Хлебниковым. С 1915 года начинается самостоятельная „колонизация“, период „борьбы“ кончается², каждый идет своим путем или бесшумно отмирает.

Вся современная культура стиха в значительной мере идет от Хлебникова — и без него не была бы возможна:

„Он — Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он — дрожание предмета; сегодняшняя поэзия — его звук“ (В. Шкловский).

Восприятие основных вещей Хлебникова подготовлено его последователями. Многие из его дерзаний и достижений вросло в стихи Маяковского, Асеева, Пастернака. Вместе с тем наше время, когда эпоха футуризма уже завершена, может новым зрением увидеть Хлебникова и понять грандиозность совершенного им поэтического дела.

Хлебников сейчас не принадлежит футуризму, его творчество не соизмеримо со школой, оно вырастает за пределы своего времени.

¹ Д. Бурлюк, „Творчество“, № 2, 1920 г., Владивосток. „То, что делал Крученых, было нужно и полезно, чересчур уж к слову установилось безразличное отношение“.

² См. статью Д. Бурлюка „Единая Эстетическая Россия“ („Весеннее Контрагентство“, 1915 г., М.).

Иди ты в мир, да слышит он
поэта.

Н. Языков.

2

Творчество поэта очень часто воспринимается неотъемлемо от его личности. Есть целый ряд стихов, которые связываются читателем с представлением „образа поэта“. В особенности это относится к тем поэтам, чья тематика ориентирована на „биографию“: на связь тематических „намёков“ с вырастающей из них „авторской личностью“ (Лермонтов, Блок, Маяковский). С другой стороны, стихи многих поэтов воспринимаются вне соотнесения с личностью автора — „лирический герой“ не возникает (Тютчев, Фет, Коневской). С этой точки зрения Хлебников принадлежит к этим „внеличным“ поэтам; недаром он так высоко ценил Уитмэна, называя его „космическим психо-приемником“.

Для понимания Хлебникова важно выяснить не тематическую соотнесенность с биографией, а его поэтический метод.

Метод поэта — это способ „видеть вещи“, это сложная постройка смыслов, в которой проявляется творческая индивидуальность. Метод поэтического восприятия мира равен системе творческого отношения к вещам — „идеологии поэта“ в плане поэтики. Это уже не тематика, не конструирование литературной „авторской личности“, а стоящее за этой тематикой и конкретностью смыслов авторское отношение к теме и вещам и к материалу творчества.

Различие методов поэтической работы связано с различием в осознании поэтом своей роли, своего „удела“.

Недаром еще Гоголь писал о различных „уделах“ поэтов:

„Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант“ („В чем же, наконец, существо русской поэзии“).

Хлебников был поэт с этим „лирическим талантом“. Поэт-проповедник, поэт, чей „поэтический метод“ неразрывен с „идеологическим смыслом“ его вещей. Эта „идеологичность“ творчества связана с смысловой насыщенностью и тематической сложностью.

По своему пониманию „дела поэта“ Хлебников был несомненно близок поэтам эпохи символизма и в этом отношении далек от многих теоретических принципов футуристов.

3

Хлебников явился на грани двух поэтических эпох. Эпоха символизма была чрезвычайно сложна, но в основных своих тенденциях символисты стремились выйти за пределы „техники искусства“ — в философию и религию. Отсюда неизбежность соотнесения теоретических высказываний и поэтических произведений их с той общественной и литературно-бытовой обстановкой, с тем читательским восприятием, на которое они были рассчитаны. Прав был В. Иванов, утверждая, что „нет символизма, если нет слушателей символистов“. Теория символизма у большинства символистов была не только эстетической теорией, но и философским миропониманием. Искусство для А. Белого — „особый род познания“, а „не самодовлеющая форма“ („Символизм как миропонимание“). Религиозно-философские кружки, журналы и критика создавали обстановку, в которой понятно было утверждение теургической миссии поэта: „не как художника только, но как личности — носителя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни“ (В. Иванов, „Заветы символизма“).

Футуристы объявили войну этой эстетике символизма. „Идеологичности“ поэзии они противопоставили „работу над словом“, „технику“ писателя: „До нас не было словесного искусства, были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию, психологию“ (А. Крученых, сборник „Трое“). Вместо этого выставляется тезис: „Новая словесная форма создает новое содержание“ (1-й пункт декларации А. Крученых — „Слово как таковое“). Правда, форма понималась футуристами несколько элементарно, как „техника“ искусства.

Отсюда взгляд на поэта как на мастера слова¹, отсюда отсутствие идеологических программ (столь важных для символистов): декларации футуристов говорят лишь о формальных „технических“ задачах. Поэт-„теург“ сменился поэтом ремесла, религиозно-философские кружки — диспутами и скандалами, где „технические приемы“ ошарашивали публику.

Хлебникова объединяла с футуристами общность в отношении к искусству как к словесному мастерству, „ремеслу“.

Но если для большинства футуристов вначале „мастерство“ понималось как „технизм“, как „обнаженность приемов“, то для Хлебникова оно было неразрывно с философией и наукой. Он — не мастер-конструктор, не техник, а „инженер-изобретатель“, в работе которого неразрывно связаны конкретные приемы и методы с общим планом мыслителя.

„Недооценка“ Хлебникова связана с непониманием идейной насыщенности его поэм и самостоятельности литературных позиций. Непонятен без этого пафос его первых „деклараций“ („Воззвание к славянам“, „Ряв о железных дорогах“) и статей („Ученик и учитель“ и др.²). В этом смысле очень любопытен черновик раннего, неопубликованного манифеста, где миссия поэта-реформатора формулирована с особенной ясностью:

„Воин ненаступившего царства приказывает думать и почитать его веру:

„1. Он вооружен, как ловец зверей: сеткой для ловли мыслей и острой для защиты их. Он наг и мощен. Кто мы? Мы будем свирепствовать, как новая оспа, пока вы не будете похожи на нас, как две капли воды. Тогда мы исчезнем. Мы — уста рока...“ (1910 — 1913 гг.?).

Вместе с тем, при общем сходстве в понимании повитической миссии с поэтами символизма (В. Ивановым и А. Белым), Хлебников существенно от них отличался. Родственна была „поэти-

¹ Здесь можно отметить некоторую переключку взглядов футуристов и акмеистов: тот же упор на „мастерство“, на весомость и культуру слова, но методы разрешения различны.

² В этом отношении особенно доказательно только-что опубликованное „Завещание“ Хлебникова, где дан идеологический комментарий ко многим вещам.

ческая поза“, установка на идеологическую поэзию, признание неразрывности поэзии с философией.

Принципиальное отличие было в самом „наполнении“ этой „поэтической позы“. Мистическому и религиозному „наполнению“, поэту-„теургу“ Хлебников противопоставил поэта-ученого („со знаменем Лобачевского“).

Создавая свою собственную „космогонию“, Хлебников обращался не к религиозной или мистической философии, как это делали символисты, а к математике и истории. И если его вычисления законов времени в значительной мере могут казаться пифагорейским „уважением к числу“, то для самого Хлебникова они были математически объективны, вне какой бы то ни было мистики. Наукообразность философических теорий Хлебникова не только создает особый план восприятия его „смыслов“, но и обуславливает самое построение его вещей. Его исторические и философские гипотезы являются не только темами поэм, но и их смысловым костяком, сквозящим за всеми образами и темами. Хлебников вводит в поэмы наукообразный материал: математические исчисления, лингвистические наблюдения и рассуждения, исторические факты и даты. Для уяснения смысла произведений Хлебникова необходимо в общих чертах иметь представление о его теоретических гипотезах. Хлебников был утопист и фантаст. Его „социальные утопии“ о городах будущего, о радио (по большей части не напечатанные) „научны“ в той же мере, как утопии Томаса Мора или Кампанеллы.

Его философские и исторические теории вырастают в своеобразную „космогонию“, определяющую его поэтический метод.

Здесь не место научному анализу теорий Хлебникова — они важны в поэтическом плане.

4

Грандиозен самый размах Хлебникова: работа философа, филолога, историка, математика — „онаучивает поэзию“, позволяет создать огромный запас новых тем и вещей.

Его поэтическая космогония — это особый поэтический мир, смысл которого раскрывается постепенно во всех произведениях, непонятных без уяснения основ его „мифотворчества“, его

„языческого мироощущения“, благодаря которому вещи и темы его живут исключительной свежестью и наивностью. Он, как мудрый ребенок, „открывает“ мир, по-новому видя и называя вещи.

Воскрешаются первобытные дикари; мир заселяется русалками и вилами; вещи оживают. Языческая мифология, славянство, социальные утопии и философия истории не только заново показали материал поэзии, замкнувшийся у символистов вокруг излюбленных лирических тем, но и дали возможность использовать методы народного эпоса и создать новое соотношение вещей.

Языческий пантеизм его „бурлескных“ поэм-идиллий („Вила и леший“, „Лесная тоска“) переходит в „современный миф“ о восстании вещей („Журавль“). Недаром критики в свое время удивлялись стремлению „футуриста“ Хлебникова „к отказу от культуры, к пещерности... звериности“ (К. Чуковский).

С другой стороны — казалось бы непримиримый с „мифологией“ и примитивизмом научный утопизм, когда „.. Лобачевского кривые украсят города“.

Будущее само становится мифом; конец „Ладомира“ — это миф о будущем человечества, где наука примиряется с природой и мировая мудрость и „лад мира“ равно проявляются и в том, что человек „...сделал из земли катушку, где только проволока гроз“, и в том, что он „славит“ „милую пастушку над озером стрекоз“.

Как романтики создавали „новую мифологию“, опирая ее на „натурфилософию“ и физику, так и Хлебников создает новую мифологию, опирая ее на современное наукообразное мышление. В основе многих поэм лежит теория Хлебникова о „математическом понимании истории“ (полнее всего изложенная в статье „Наша основа“ — „Лирень“, 1920 г., Харьков). Из сопоставления чисел и дат различных событий, по убеждению Хлебникова, возможно найти периодичность — „повторение мировых волн“ — в самых разнообразных явлениях. Работа над нахождением этих законов велась Хлебниковым почти всю жизнь до самых последних дней и собрана в его „Досках Судьбы“.

Законы исторической периодичности — „гамма будетлянина“ — Хлебниковым определены так:

„Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца“ („Наша основа“). Таким образом 317 лет — „для колебания струны войн“, 365 лет — „закон рождений подобных людей“ и т. д.; благодаря этому: „время необыкновенно сближается с природой чисел, т.е. с миром прерывных разорванных величин“, а предвиденье будущего дает возможность управлять событиями. Об этой власти чисел, законе мировых волн, Хлебников говорит в одной из своих первых поэм:

Походы мрачные пехот,
Копьем убийство короля
Послушны числам как заход,
Дождь звезд и синие поля.
Года войны, ковры чуме,
Сложил и вычел я в уме.
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу.

Гибель Атлантиды

Хлебников настаивает, что его „законы времени“ научны и не являются „ни прорицанием, ни мистикой“. „Точные законы дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчета“.

Отсюда такие вещи Хлебникова, как „Зангези“, „Дети выдры“, „Синие оковы“, в которых теория повтора событий организует их строение и дает ключ к пониманию. Развитие темы и смыслов идет путем сопоставления разновременных фактов, объединенных общностью их исторической переключки.

Из этого вырастает основная тема Хлебникова — тема исторического возмездия. Эта тема проходит лейтмотивом через многие поэмы. Возмездие постигает жреца, убившего рабыню в „Атлантиде“; возмездие Разина — народного восстания, задавленного царизмом — воскресает в русской революции:

И Разина глухое „слышу“
Подыметя со дна холмов,
Как знамя красное взойдет на крыши
И поведет войска умов.

В результате своего развития человечество достигнет той высоты и вместе с тем простоты культуры, которая предвидится им в его утопии „Ладомир“:

Я вижу конские свободы
И равноправие коров,
Былиной снов сольются годы,
И человека спал засов.

Повторяемость событий и „математическое понимание истории“ говорят, по мнению Хлебникова, о мировом разуме, некоей объективной и „наукопостигаемой“ закономерности:

Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой.

Синие Оковы

Поэмы Хлебникова о войне и революции („Настоящее“, „Ночь в окопе“, „Ладомир“, „Война в мышеловке“), может быть, самые значительные и впечатляющие вещи в современной поэзии.

Своей монументальностью и пафосом революции и мира, глубокой философичностью они должны стать классическими. Недаром Маяковский в столь многом идет от Хлебникова (ср. вещи Маяковского с „Войной в мышеловке“).

Революция восстания и крови должна, по мысли Хлебникова, смениться революцией культуры, когда:

Неравенство и горы денег
.
Заменит песней современник.

Ладомир

5

Хлебников — поэт эпоса. Эпические вещи не только преобладают количественно, но и центральны по своему значению. Даже лирические стихи очень часто являются фрагментами осуществленных или задуманных им эпических произведений.

Название „поэмы“, как и вообще какой-либо „жанровый знак“, для Хлебникова, разрушавшего привычные жанры, очень условно (хотя сам он и пользовался им иногда).

„Поэмой“ у Хлебникова приходится называть самые различные вещи: начиная от баллады („Лесная дева“ и „Мария Вечора“) или „оды“ („Войне—смерть“) и кончая драматизованной поэмой („Маркиза Дезес“); вместе с тем эта „неопределенность“ термина удобна своей необязательностью.

Обычнее всего у Хлебникова „описательная“ или „дидактическая“ поэма, если пользоваться аналогиями с XVIII веком. Аналогия эта не случайна: близость Хлебникова к XVIII веку — не только в обращении к монументальным эпическим жанрам, но и в его „шишковстве“, архаизме синтаксиса, в „сочетании далековатых идей“. Хлебников — архаист не только в силу литературных традиций (хотя, конечно, стиховая культура XVIII века им использована), но и по методу своего творчества, по своей историко-литературной позиции.

Борясь с жанровой инерцией литературных традиций, противопоставляя отчетливости и канонизованности лирических жанров символистов свой эпос, Хлебников не только разрушает и смешивает привычные жанры, но и создает комбинированные произведения из стихов и прозы („колоды плоскостей“ в „Зангези“ и в „Детях выдры“).

Этот сдвиг канонических жанров особенно резко ощутим в тех случаях, когда он им неожиданно иронически „снижает“ в „бурлеск“ вещь „патетического“ плана или когда он пользуется такими традиционными и строгими жанрами, как терцины („Змеи-поезда“), где ритмические и смысловые сдвиги совершенно разрушают привычную каноничность.

Символисты не могли создать эпос и выйти из пределов лирики, традиционных жанров и стилизации. Поэтому таким резким разрывом с ними было обращение Хлебникова к классической поэзии первой половины XIX в. и к XVIII веку. Дидактическая поэма, ода и идиллия — вместо интимных и камерных жанров, резкость конструктивных сдвигов и грандиозных образов — вместо поэзии намеков и „музыкальности“.

Хлебников как бы заново начинает литературу; поэтому он пользуется не методом и „достижениями“ того или иного поэта,

а тем поэтическим сломом, который создается в результате разрушения „классической поэзии“.

С другой стороны, Хлебников, создавая свой эпос, обращается к народному творчеству, к „Слову о полку Игореве“, к сказкам, „Гайавате“ и мифам. Простота и огромность замыслов, простор эпического дыхания Хлебникова идут от народного эпоса. Не только сказочные и „бурлескные“ поэмы его близки ему по методу „поэтического мировосприятия“, но даже его философские поэмы напоминают современный миф.

„Гайавата“, „Калевала“, русские былины и сказки представляют некую „космогоническую“ систему, где вещи соотносятся и восприняты в своей поэтической реальности, неправдоподобной, но убедительной. Поэтому вилы и лешие, превращения, говорящая природа — это создание собственной поэтической системы, с своей особой символикой и реальностью, которая и сближает Хлебникова с народным творчеством, не говоря уже о непосредственном обращении к народному фольклору („Вила и леший“, „Уструг Разина“, „Дети выдры“).

В отличие от символистов, переносивших на русскую почву культуру западного символизма и вообще иностранной литературы, Хлебников обращается к национальным истокам.

В своем обращении к „славянщизне“, фольклору и древним памятникам он во многом перекликается с теми символистами, которые, как Ремизов, Вяч. Иванов и Бальмонт, также ориентировались на эти источники¹.

6

Для части поэм Хлебникова, в особенности первой половины его творчества, важно пользование „классическим“ сломом. Хлебников строит свои вещи как на отталкивании от всей

¹ С другой стороны, „примитивизм“ Хлебникова встречается с „адамизмом“ акмеистов, в особенности с „языческими“ стихами С. Городецкого. Любопытно, что сам Хлебников на экземпляре 2-го „Садка Судей“, поднесенном Городецкому, написал: „Одно лето носивший за паузой «Ярь», любящий и благодарный Хлебников“.

классической традиции, так и на „захвате“ в свою поэтическую систему „кусков“ и отдельных элементов ее. Этим достигается своеобразное „использование“ каноничного стиха, его ритмических, интонационных ходов и даже семантического строения. Благодаря постоянным ритмическим и смысловым сдвигам получается „сквозная вещь“, постоянное колебание смысла. От патетической декламации Хлебников переходит к иронической разговорности, причем мотивировки переходов отсутствуют. В этом отношении особенно показательна поэма „Шаман и Венера“, где ироническая двупланность темы строится на колебании двух стилистических пластов: „классического“, напоминающего сплав пушкинских поэм, и иронического, разговорного:

Всходило солнце. За горой
О чем-то роща лепетала.
От сна природа пробудилась,
Младой зари подняв персты.
Венера точно застыдилась
Своей полночной наготы.

Или тут же рядом:

...И речь [шаман] повел, сказав:
— Напрасно вы сели на обрубок,
Он колок и оцарапает вас.
Берет со стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.

Основным свойством стиха у Хлебникова является свобода, с которой уживаются в его поэмах разнообразнейшие словесные слои и ритмические системы. Благодаря этой свободе построения Хлебников пользуется готовыми формулами классического стиха, как ритмико-синтаксическими, так и семантическими, чаще всего пушкинскими:

Сквозь русских в Индию в окно
Возили ружья и зерно
Купца суда. Теперь их нет,
А внуку враг и божий свет.

Х а д ж и Т а р х а н

Или: „И хлад высокого чела“ („Шаман и Венера“), или почти цитатное использование Лермонтова:

У ног его рыдала русалка. Она,
Неясным желаньем полна,
Оставила шум колеса.

Поэт

„Классические штампы“ для него застыли в удобные формулы (иногда лишь иронически осмысляемые), которые он включает в свои вещи как словарь, а не как следование традиционной поэтической системе. Необычайная „емкость“ поэтики Хлебникова позволяет ему пользоваться равноправно как „классическими“ словарем и интонацией, так и разговорными.

В глазах публики эти „сдвиги“ казались результатом „экспериментальных“ попыток Хлебникова; на самом же деле это был новый и основной его метод, выводящий вещи из их автоматизма. „Сдвиг“ обычно дан в самом построении вещи. Хлебников постоянно нарушает или выпускает фабульные мотивировки. Иногда сюжетный сдвиг дан в расчете на комический эффект (напр. перенос действия из Руси времен Владимира в современность в „Внучке Малаши“), но чаще всего Хлебников пользуется им вне комического осмысления, а с целью нарушения привычного соотношения и статики вещей. Отсюда „восстание вещей“ („Журавль“) или превращение на вернисаже людей в статуи, а картин в людей („Маркиза Дезес“).

Трубы, стоявшие века,
Летят,
Движениям подражая червяка.

Журавль

Это „восстание“ или „превращение“ вещей исходит из основной метафоры, причем „развертывание“ метафоры вырастает в „сюжет“ вещи. Первоначальное сравнение или метафора развертываются в самостоятельное „сюжетное построение“. При этом раскрывается лишь один метафорический ряд, но

таким образом, что он как бы становится „событием“, приобретает поэтическую реальность ¹.

Он, город, что оглоблю бога
Сейчас сломал о поворот,
Спокойно стал, едва тревога
Его волнует конский рот.
.
Свой конский череп человека,
Его опутав умной гровкой,
Глаза белилами калеча,
Он, меловой, зажег огниво.

Л а д о м и р

Поэтическая фигура превращается в „поэтический факт“. Так и в народном эпосе оживляются и превращаются вещи. Это подсказывалось и оправдывалось примитивной космогонией. Философская система Хлебникова, его понимание мира вызывали новое соотношение вещей и смыслов.

Эта система фабульных сдвигов — основной способ раскрытия фабулы. Она неразрывно связана с смысловой системой Хлебникова, в которой абстрактные и философские понятия переключаются в поэтический миф, т.-е. в свою самостоятельную систему смыслов.

Благодаря этому мы имеем не колебания неопределенной массы смыслов для раскрытия образа, как у символистов, а реализацию и сюжетное развертывание одного смысла, все звенья которого конкретны и „вещны“, если нам известен основной смысл „мифа“. В результате получается та прочность смыслов, которой не было в символизме. С другой стороны, поэтому нужно знать „ключ“ к основному мифу, который понятен лишь при знании философских теорий Хлебникова.

¹ Об этом писал Р. Якобсон в своей книжке о Хлебникове „Новейшая русская поэзия“, Прага, 1921 г. „Здесь мы имеем реализацию того же тропа, проекцию литературного приема в художественную реальность, превращение поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное построение“.

Большинство поэм Хлебникова „бессюжетно“ (т.е. не имеет событийной канвы). Поэтому „фабула“ поэм у него движется путем ассоциативного нанизывания отдельных тематических звеньев, логически не мотивированных. Недаром так удачно определил метод фабульного развертывания у Хлебникова Н. С. Гумилев:

„Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий“ („Письма о русской поэзии“).

Смысловая затрудненность („бессвязность“) происходит оттого, что Хлебников пропускает и переставляет ряд смысловых звеньев, отказываясь от мотивировки фабульных скачков.

7

Символизм в своем отношении к слову основывался на „относительности“ смыслов, на „текучести“ слова, когда символ или образ являлся лишь общим указанием на неопределенно широкий круг смысловых ассоциаций¹. Этой „текучести“ смысла Хлебников противопоставил углубленность в структуру слова, выявление и использование его собственных „внутренних“ значений, что привело к внешней разобщенности смыслов. Для него „единицей“ служит „малый камень равновеликих слов“ — смысл, „тема“ всего произведения; „сверхповесть“, или „заповесть“, складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? — каждый отвечает независимо от соседа („Зангези“). Образ у Хлебникова вырастает до развитой перифразы, перифрастический ряд которой самостоятелен; поэтому для раскрытия смысла ее² часто требуются

¹ См. ст. И. Анненского „О современном лиризме“ („Аполлон“, 1909 г., № 1).

² Так непонятен вне биографических фактов образ рыбака и двух ласточек в „Синих Оковах“, или целый ряд мест в „Хаджи Тархане“ без исторических и географических справок.

реальные комментарии. Хлебников показывает большинство вещей описательно, не называя их, а описывая их конкретные признаки: „Столбы с челом цветочным Рима“ — вместо колонн. Семантический метод Хлебникова, может быть, ближе всего к ломоносовскому. Постепенное усложнение основного образа его вторичными переключениями сходно с той иерархией „первичных“ и „вторичных“ „идей“, которыми обрастают „термины“, т.е. „простые идеи“, „из которых составляется тема“¹. Так, например, постепенно усложняется образ в поэме „Ночь в окопе“.

И ты, чудовище из меди,
Одетое в железный панцырь.
На холмах алые кубанцы.
Подобное часам, на брюхе-броневом,
Оно ползло, топча живое!
Ползло, как ящер до потопа,
Вдоль нити красного окопа.

Или:

Как человеческую рожь,
Собрал в снопы неадешний нож.
Гуляет пахарь в нашей ниве.

У с т р у г Р а з и н а

Но было бы совершенно ошибочным думать, что Хлебников постоянно пользовался такой сложной и напряженной системой смыслов. Наоборот, в большинстве случаев он сочетает их с простым и ясным строением стиха, семантической свободой, без которой немислимо было бы такое длительное „эпическое дыхание“ его.

Семантическая свобода Хлебникова неразрывно связана с его ритмическим „простором“. Несмотря на разнообразие ритмических тенденций и постоянные ритмико-синтаксические сдвиги у Хлебникова можно различить два основных принципа ритмического строения: 1) ориентированного на метрический стих с постоянными сдвигами и 2) стих, ориентированный на интонационно-разговорный ритм. В ряде поэм он пользуется клас-

¹ См. „Риторика“, 2-я гл.— „О изобретении простых идей“—у Ломоносова.

сическими размерами, ломая и деформируя их переходами от одного метра к другому (чередования хорей и амфибрахия в „Марии Вечере“) или к „вольному размеру“. Чаще всего Хлебников пользуется четырехстопным ямбом, сохраняя привычные ритмико-интонационные ходы:

Какая сила их связала,
Какое сердце и союз!

Сельская дружба

и применяя даже пушкинский синтаксис:

Как осень изменяет сад,
Дает багрец — цвет синей меди,
И самоцветный водопад
Снегов предшествует победе . . .

Поэт

Ритмическая деформация достигается или сдвигом в неметрическую стиховую инерцию, или разрушением первичной инерции разговорной интонацией:

— Как все это жестоко! —
Сказала дева, вдруг заплакав.

Шаман и Венера

Иной ритмический принцип осуществлен Хлебниковым в повмах, написанных „вольным размером“, как он сам назвал его в подзаголовке к одному из ранних стихов („Крымское“).

„Вольный размер“ Хлебникова организуется по совершенно иным принципам, чем, примерно, „акцентный стих“ Маяковского. Стих Маяковского основан на насилии ритмического импульса над интонацией¹.

„Рубка“ Маяковского (его графическое членение, рассчитанное на скопление интонационной силы на коротком отрезке стиха) в своем постоянном осуществлении однообразна.

¹ Ср. у Р. Якобсона о стихе Маяковского: „сказовый [т.-е. акцентный] стих влечет за собой насилие над акцентом словосочетания“ („О чешском стихе“, Прага, 1921 г.).

Маяковский пользуется результатом достижений Хлебникова (см. „Война в мышеловке“), не используя его принципов. Он „монополизирует“ лишь один из ритмических (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип. Хлебников же весь в разносторонности устремлений и в усложненной дифференциации приемов. „Вольный размер“ Хлебникова основан на использовании речевого ритма и интонации. Ритмический импульс — результат графического членения и чередования ударяемых слов — не противопоставлен интонации, а объединен с нею в некое мелодическое единство.

Проявляется он двояко — на основе отрывистой, повышенной интонации:

— На изготовку!
Бери винтовку!
Топай братва,
Направо 38.
Сильнее дергай!
— Есть!

Ночной обыск

В этой вещи использован ритм разговорной речи, но в ее особых речевых формах — „приказательной“ и диалогической; при краткости фразы и энергии удара получается ритмическая динамика, вне насилия над речевой интонацией.

Другой принцип ритмического строя основан на меньшей напряженности, на интонационно-речевой „свободе“, где синтаксические и смысловые оттенки и обычная мелодия речи дают сложнейший ритмический результат.

Единство ритмического импульса здесь основано на преобладании определенного интонационного типа и темпа. В большинстве случаев графическое членение здесь соответствует синтаксическому и интонационному выделению слов и фраз:

Ласточки две,
Как образ семьи в красном куте,

Свили лачугу:
Взамен серебра — образу был
Этих ласточек брак.

С и н и е о к о в ы

Поэтому так велико значение интонации. Недаром в декларации, помещенной во 2-м „Садке Судей“, писалось: „Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного языка“.

Но наряду с разговорной интонацией Хлебников, пользуясь своим основным принципом ритмической свободы, прибегает к интонации одической, ораторской (в вещах „высокого плана“):

Куда ушли столетья славы?

Х а д ж и Т а р х а н

Очень часто с интонационно-синтаксическим нагнетением, свойственным поэтам XVIII века (Ломоносов, Державин):

Москва, богиней воли подымая
Над миром светоч золотой,
Русалкой крови орошая
Багрянцем сломанный устой —
Ты где права? Ты где жива?

Н о ч ь в о к о п е

8

Эстетика футуризма выдвинула на первое место принципы словесной конструкции. „Самовитое слово“, слово как главный конструктивный элемент в поэзии, было тем поэтическим принципом, который объединял столь различные линии футуризма и проводил водораздел между поэтикой футуристов и символистов.

Несмотря на сбивчивость „деклараций“ требования новой словесной культуры, автономного значения слова — в противовес подчиненности словесного ряда иным элементам художественной структуры (философии, публицистике и т. д.) — можно формулировать словами Крученых:

„До нас искусства слова не было. Ясное и решительное доказательство тому, что до сих пор слово было в кандалах, является его подчиненность смыслу; до сих пор утверждали, что «мысль диктует законы слову, а не наоборот». Мы указали на эту ошибку и дали свободный язык, заумный, «вселенский».
„Через мысль шли художники прежние к слову, мы же через слово к непосредственному постижению“ („Новые пути слова“, „Трое“, 1914 г.).

Для символизма же в целом важна не только „подчиненность слова мысли“, но и иные методы пользования словом.

Для символиста слово — знак обозначения, идеи, смысла; символист от смысла „темы“ идет к „словесному оформлению“. Слово важно не своими ассоциациями и вновь рожденными значениями, а своей совокупностью, своей массой, где разные „смыслы“ самого слова сглаживаются и изолируются подчиненностью общему „смыслу“.

Отсюда столь характерное для символистов требование ритмической и фонической мелодичности и „музыкальности“¹, где ритмическая инерция напевного стиха и его „благозвучие“ съедали вес отдельных слов.

Это отношение к слову объясняется требованием „символичности“ — так, как его понимали символисты.

Оно основано на признании наиболее важным для стихов угадывания их „символа“, т.-е. того смыслового ряда, который ассоциируется со всем „образом“, со всей „фабулой“ стихотворения, а не складывается из движения отдельных „словообразов“.

Футуризм обратился к выдвинутому слову.

Футуризм стремился совершенно отбросить предметную функцию слова, так же как и теорию символа-образа. Потенциально стихотворением являлось слово, раскрываемое в его глубину путем или „скрещивания“ его второстепенных ассоциаций, или обнажения его „внутренних форм“, а не предметных значений. Благодаря этому получались те „невязки“, разорванность ассоциаций и „смысловой сдвиг“, которые часто встречаются у Хлебникова:

¹ Против принципа „De la musique avant toutes choses“ почти одновременно с футуристами восставали и акмеисты (Гумилев).

И мертвостынь
старого
черепа
Скользко мелькнувшие мыши
И милостынь старого бреда
Венчание в царствии крыши,
и все.

Требник трюх

В основе нового понимания роли слова лежали принципы, проводимые Хлебниковым и использованные поэтами, примыкающими к нему (стихи Маяковского, Асеева, Пастернака и мн. др.).

Новое понимание роли слова и принципов поэтической конструкции у Хлебникова привело к той поэтике сдвига, динамизации фонетики слова, образа, синтаксиса и фабулы, которая создала максимальную напряженность словесного ряда.

Отсюда лозунги первых лет футуризма, вроде уничтожения пунктуации („Садок Судей“, 2) и требования свободы от смысла, крайним завершением которых явилась „заумь“ Крученых.

Отсюда признание законности „случайного результата“, даже непредусмотренного сдвига, вроде опечатки, у Хлебникова:

„Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка? Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику“ („Наша основа“).

Наиболее отчетливо и наглядно этот принцип „сдвига“ сказался в сдвиге фонетического состава слова и в словотворчестве Хлебникова.

9

Работа Хлебникова над словом заключалась не только в выдвигании его „самовитости“, но и в своеобразной поэтической и „научной“ разработке сущности слова.

Разграничение „бытового“ и „чистого“ слова сформулировано Хлебниковым окончательно в статье „Наша основа“ („Лирень“ 1920 г.) и было исходным моментом его учения о слове:

„Слово делится на чистое и бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной звездный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи. Но для небоведа солнце—такая же пылинка, как и все остальные звезды“.

„Бытовое“ значение слова является его формой, его случайным знаком в той же мере, как и звуковая форма—знаком, скрывающим истинный „наиндивидуальный“ смысл.

Слово здесь является в своей двойной роли: слово — как имя предмета, знак его, со всеми субъективными и случайными ассоциациями, и слово—как некий эквивалент сущности предмета, некая объективная мыслительная данность.

Уже в 1911-12 гг. Хлебниковым это было провозглашено в неизданном воззвании:

„Мы указываем, что кроме языка слов, единиц слуха, есть язык—ткань из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым)“.

На этом разграничении и основывается хлебниковская теория „заумного языка“, который по существу является языком не „бессмысленным“, как это принято думать, а языком „надумным“, языком, выражающим чистые понятия, объективные смыслы, общие человеческому сознанию, а не названия предметов. Отсюда бытовая (номинативная) функция языка определяется Хлебниковым как „игра в куклы“:

„Понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука шиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие куклы просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек. Но язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки, согласные и гласные звуки были струнами этой игры в звуковые куклы“.

Из этой теории самовитого „чистого“ слова, обосновываемой им в ряде лингвистических статей и наблюдений, Хлебников делает и основные выводы для пользования словом в поэзии. Все они стремятся вывести слово из его случайного, бытового автоматизма для открытия в нем внутрилежащего смысла.

Работа философа и лингвиста становится работой поэта.

Сложная теория слова, созданная Хлебниковым, была лишь частично использована футуристами. Вместо „чистого“ слова, отрешенного от бытовых ассоциаций, слова с выдвинутыми фонической и морфологической формами, Крученых (а за ним и все остальные сторонники, хулители или истолкователи „зауми“) создал бессмысленные звукосочетания—одну фоническую форму (которая собственно не может называться и „формой“, будучи лишена даже потенциальных значений). Пути словесной работы Хлебникова до сих пор не только не были от нее отделены, но и не рассматривались сколько-нибудь серьезно.

Остальные футуристы усвоили лишь общий принцип языковой затрудненности и обостренного отношения к фонической стороне стиха.

Словотворчество Хлебникова служит наиболее показательным примером принципов его работы над словом. Здесь мы имеем дело как бы с наиболее простой и вместе с тем наиболее радикальной формой словесного сдвига и освобождения слова от „предметности“.

Здесь не перемена или сдвиг значения, получаемого от контекста, а тот „троп речения“, который является в результате изменения отдельного слова¹.

Словотворчество у Хлебникова чрезвычайно разнообразно. Чаще всего он соединяет корень слова с несвойственными ему формальными частями („мечачи“ по аналогии с лихачи; „людел“, „родел“— по аналогии с раздел, отдел; „силебен“, „селебен“— молебен. (См. „Войне — смерть“).

„Смысловый сдвиг“ достигается Хлебниковым путем „соединения двух значений“. Для этого он пользуется заменой в слове начального звука:

¹ „Важная возможность поэтического неологизма — беспредметность. Действует закон поэтической этимологии, переживается словесная форма: внешняя и внутренняя, но отсутствует то, что Гуссерль называет *dinglicher Bezug*“ (Р. Якобсон, „Новейшая русская поэзия“). „Заменяв в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую“ (Хлебников, „Наша основа“).

„Если мы имеем пару таких слов, как двор и твор, и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово творяне — творцы жизни“. (См. „Ладомир“: „Это шествуют творяне, заменивши Д на Т“).

Здесь „слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение выблется, слово воспринимается как знакомец, с внезапно незнакомым лицом, или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое“ („Наша основа“). Колебание значений не дает утвердиться предметному смыслу, спасает слово от бытового шаблона и повышает его смысловую напряженность: в нем происходит борьба двух ассоциативных комплексов¹. Словотворчество идет в пределах языковых аналогий, как утверждает Хлебников: „не нарушает законов языка“, бесконечно расширяя словарный фонд:

„Словотворчество — враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем“.

„Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов языка“ („Наша основа“. Подчеркнуто мною. Н. С.).

10

Огромная работа над словом у Хлебникова привела к крайнему разнообразию словесных пластов. Словесное изобилие Хлебникова настолько велико, что, вероятно, нет повтов равных ему в этом. Он пользуется диалектизмами, народными, научными, славянскими и архаическими словами часто в одном и том же произведении. Поэтому без словаря многие места мало понятны и часто принимались за заумь. Основным устремлением Хлеб-

¹ Корень ассоциируется с рядом однокоренных слов, а формальная часть — с рядом слов с аналогичными формальными частями: „судеса“ с суд и с небеса и т. п., и сложнее, когда происходит смешение двух корней.

никова было развить все возможности русского языка, языка народного и славянского. Он, как раньше Шишков, борется с иностранным словарем.

В своих стихах и статьях Хлебников почти совершенно отказывается от иностранных слов, создавая взамен их русские. В его черновиках имеются целые страницы различных изобретенных им слов для замены иностранных. Так, напр., он для каждого театрального термина предлагает ряд слов:

„Т е а т р — детинец, детел, казяны, показень, вождебен (т. к. ведет общество); показатель — созерцeben, созерцавель, детел; смотрел — зерцел, зерцог (от созерцать)“.

Воскрешается древне-русский словарь: так, „Девий бог“ весь написан языком сказок и древних повестей.

Хлебников однажды в черновике сам подсчитал те языковые слои, которыми он пользуется:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Число-слово. | 11. Цели... созвучия. |
| 2. Заумный язык. | 12. Вывихи слова. |
| 3. Звукопись. | 13. Перевертни. |
| 4. Словотворчество. | 14. Народные слова. |
| 5. Разложение слова. | 15. Общеславянские слова. |
| 6. Иностранные слова ¹ . | 16. Звездный язык. |
| 7. Даль. | 17. Вращение слова. |
| 8. Жестокие слова. | 18. Бурный язык. |
| 9. Нежные-сладкие. | 19. Безумные слова. |
| 10. Косое созвучие. | 20. Тайный язык. |

В „Зангези“ он насчитывает семь „плоскостей слова“²:

1. Звукопись — птичий язык.
2. Язык богов.
3. Звездный язык.
4. Заумный язык — „плоскость мысли“.
5. Разложение слова.
6. Звукопись.
7. Безумный язык.

Это огромное разнообразие и деление языка по функциям и видам настолько сложно, что требует особой работы, чтобы показать, как Хлебников ими пользуется.

¹ Хлебников со своей тягой к Востоку и Азии охотно пользовался восточными словами („Дети выдры“).

² Черновики 1909 — 12 гг.

Приведенный список Хлебникова ясно показывает, что „заумный язык“ („заумь“) у него лишь одна из форм речевого выражения наряду со словотворчеством, „звездным языком“ и аффективной речью („безумный“, „бурный“ языки).

Таким образом „заумь“ для Хлебникова имеет очень узкий и конкретный смысл, в то время как вообще под „заумь“ подводится что угодно.

„Заумь“ следует дифференцировать. В одних случаях „заумь“ является звукоподражанием (напр. „птичий язык“ у Хлебникова или Каменского). Иное — „заумь“ Крученых (или того же Каменского), — встречающаяся и у Хлебникова, — рассчитанная на эмоциональное восприятие.

Здесь подбор некоторых звуко сочетаний благодаря фонетическому сходству их с корнями эмоционально окрашенных слов (сарча, кроча буга — у Крученых) и резкости интонации напоминает аффективную речь.

Все эти виды „зауми“ были даны Хлебниковым, но для него они явились лишь частичными методами в общей работе над словом. В принципе они приближаются к неречевому звучанию или к эмоционально-аффективному воздействию. Поэтому Крученых, Каменский и др. „заумники“ дальше первых опытов Хлебникова пойти не могли. Они лишь довели до предела один из приемов Хлебникова (так же как Маяковский с ритмом и рифмой). Изобретатель всегда идет впереди пользующихся его изобретением.

Мысль изреченная есть ложь.

Ф. Т ю т ч е в.

11

Наиболее ясным и последовательным принципом работы над словом и пониманием его роли является у Хлебникова „звездный язык“. Это — некая алгебра мыслей. Язык символических обозначений, иероглифическое письмо — всецело освобождающее язык от его бытовых предметных значений.

Совершенно неверно смешивать его с „заумью“, которая или лишена смысла, или эмоциональна (в зависимости от ассоциаций темы или качества звуков).

„Звездный язык“ — азбука понятий, выраженная Хлебниковым в геометрических терминах¹:

„«В» — движение точки по кругу около другой неподвижной“; или:
„«Л» — переход количества высоты, совпадающей с осью движения, в измерение ширины, поперечной пути движения“.

Но одно лишь математическое обозначение природы звука, хотя и создает „научную объективность“, столь важную для поэтики Хлебникова, само по себе еще недостаточно для поэзии.

Поэтому Хлебников принужден расшифровать его в понятийном плане, в плане смысловых ассоциаций: Слова на «Л» — лодка, лыжи, ладья, ладонь, лапа. „... Возьмем пловца на лодке: его вес распределяется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается на широкую площадь и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь. Пловец делается легким. Поэтому «Л» можно определить как уменьшение силы в каждой данной точке, вызванное ростом поля ее приложения. Падающее тело останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В общественном строе такому сдвигу отвечает сдвиг думской России к советской России, так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую площадь носителей власти. Пловец-государство на лодку широкого народовластия. Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя“.

Здесь мы видим самый процесс осмысления (семасиологизации) звука, звук становится символом, эмблемой ряда понятий, все время отодвигающихся и отдаляющихся от обозначаемого им первоначально логического понятия. Здесь происходит как бы постепенное „сопряжение“ „первых“, „вторичных“ и „третичных“ идей (Ломоносов).

Абстрактное понятие реализуется в ряде „образов“, или „вторичных“ идей, тем самым раскрывая понятие, приписанное звуку.

„Азбука будетлянина“ Хлебникова является ключом к ряду его вещей („Ладомир“, „Зангези“, „Царапина по небу“).

¹ Так, Татлин при постановке „Зангези“ в Музее художественной культуры в 1923 г. эту азбуку передал графически в виде геометрических чертежей.

Расшифровка этого ключа обычно дана в самой вещи, при помощи раскрытия „логической эмблемы“.

Здесь мы имеем символизм звука, но не субъективно эмоциональной окраски его „тона“ или „цвета“, а как знак некоторой логической суммы понятий, условного философско-поэтического шифра, открывающего вторичный смысл вещи. Приблизительно так, как в персидской или суннитской поэзии мы имеем слова и образы, обладающие еще вторым, „тайным“ философским, смыслом, доступным посвященным, так что там возможно говорить о двух пониманиях ее: „на языке быта“ (как сказал бы Хлебников), как ряд чувственных образов, и как философские понятия, скрытые за этими условными эмблемами.

Благодаря такой символике звуков „звездный язык“ для Хлебникова есть „грядущий мировой язык в зародыше“, т. к. звук, связанный лишь с идеальным понятием, а не предметом, должен расшифровываться одинаково во всех языках.

12

Сколько-нибудь подробное исследование творчества Хлебникова здесь невозможно. Он — не только наименее исследованный и знакомый поэт, но и поэт наиболее трудный и сложный. Простота и свобода, которых он достиг — результат огромной и скрытой работы, — еще более сложной, чем его затрудненные вещи.

Эпическая, большая вещь не может создаваться без смысловой свободы. Постоянная напряженность образа и затрудненность словесного ряда — столь часто обязательные в лирике — здесь были бы утомительны.

В эпосе необходимы „передышки“, переходы к спокойному ритмическому и синтаксическому строю, „наивности“ образа, к простоте смысла — тогда только ощутимы „вершины“ поэмы.

Хлебников в своих поэмах постоянно пользуется этой свободой. Оттого так част у него простой, честный ямб или хорей, оттого постоянно можно встретить такие „бесхитростные“ стихи (подобно „птичке божией“ у Пушкина в „Цыганах“), как:

Скот мычит, пастух играет,
Солнце красное встает...

Лесная тоска

или классические интонации и штампы во всех поэмах.

13

Хлебникову еще предстоит его литературная миссия и позднее признание.

Современные поэты слишком долго жили за счет В. Хлебникова, заслоняя и популяризируя его творческие достижения. Даже трагическая гибель его не послужила напоминанием о том, что настало время, когда замалчивание имени Хлебникова невозможно.

Долг современников — собрать рассеянное наследие Велимира Хлебникова и опубликовать его. В. Хлебников — не только величайший поэт нашей эпохи, но и будущего.

Уже теперь свершается сказанное им в „Ладомире“:

И твой полет вперед всегда
Повторят позже ног скупцы,
И время громкого суда
Узнают истины купцы.

П О Э М Ы 1907 — 1913

Здесь все сказано и гудно
Эго воли моря полк
И на самом носу судна
Был прабит матерый волк
А отцу свободы дикой
На паревои летит кой же,
И играй кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покачилась рублем
Но ками на невые
Им мим, любезные
И ветер алу невои
И слушны бездны
Он невидим и неведом
Быстро катится по водам.
Он был кум бедноты,
С самой смерью на ты.
Бревен герные а кокоры
Для весла гребцов опоры.

Выступы замок простер
В синюю неба пустыню.
Холодный востока костер
Утра встречает богиню.
И тогда-то
Звук раздался от подков.
Бел как хата
Месяц сотен облаков
Лаву видит седоков.
И один из них широко
Ношей белою взмахнул,
И в его ночное око
Сам таинственный разгул
Заглянул,
Из-за мела белых скул.
Не святые, не святоши,
В поздний час несемся мы,
Так зачем чураться ноши
В час царицы воплей тьмы!
Пусть, блестящее чем свет,
Два блистают черных глаза,
В них источники всех бед,
В них чумы очаг, зараза.

Смелой все же
Молодежи
Нет укора, нет отказа!
Здравствуй, черные два глаза!..

Уж по твердой мостовой,
Шли измученные кони.
И опять взмахнул живой
Ношей мчащейся погони.
И кони устало зевают — замучены,
Шатаются конские стати.
Усы золотые закручены
Вождя веселящейся знати.
И вящшей породе поспешная дань
Ворота раскрылись настезь.
„Раскройся, раскройся, чудесная ткань.
Находку волшебную застишь!
В руках моих дремлет прекрасная лань!
О, эти речи огневые
Ручья ночного сонных взоров!
И этот снег и пепел выи,
Узницы белой кружев узоров.
Лесной и дикой кошки норов“.
И, преодолевая странный страх,
По широкой взбегаёт он лестнице,
И прячется сам в волосах
Молчащей кудесницы.
„В холодном сумраке покоя,
Где окружили стол скамьи,
Узнаю я, судьба какое
Дает веселие семьи?“
И те отвечают с весельем:
„Жестокую правду ты молвил и дело.
Дружен урод с подземельем,
И входит дворца госпожою красивое тело,
Сжигая безумно года.
Так было, так будет всегда“.

Короткие четверть часа
Пробуду я наедине.
Узнаю, идет ли кудрей тех краса
К ранней главы седине.
Нет, ведро на коромысле
Не коснулося плеча.
Кудри длинные повисли,
Точно звуки скрипача.
И залог для восхищенья
Чуден, нем, закрыв глаза,
О, добыча похищенья,
Тяжкий меч и стрекоза“.
И те засмеялись дружно.
Качаются старою стрелкой часы.
Но страх вдруг приходит. Но все же наружно
Товарищи крутят, что копыя, усы.
Охоты прибежища — замка
Богине равна домочадка.
Но знаем, но знаем, загадка —
Кудрей златонежная рамка.
И пышные ходят стаканы,
Вином веселя их досуги,
Одетые в шлем и кольчуги
Смотрели на них великаны.

Но что это? Жалобный стон и взволнованный говор
И тела упавшего шум позже стука.
Весь дрожь убегает в молчании повар
И прочь удалился, не выронив звука.
И мчатся толпою, недоброе чую,
До двери высокой, дубовой и темной,
И плачет товарищ, ключ в скважину суя,

Суровый, веселый, огромный.
На битву бегут они к женственным чарам,
И дверь отворилась под тяжким ударом
Со скрипом, как будто куда-то летя,
Грустящее молит и плачет дитя.
Где ткань нависала из дуба резная,
Бросился первый боец рукопашной
И тотчас же замер, недоброе зная,
Здесь замер он грозный и страшный.
Два или три через мига
Прежних предчувствий раскроется книга.
Но зачем в их руках заблистали клинки?
Шашек лезвия блещут из каждой руки.
На полу, как уснувший, лежит общий друг
И на пол стекают из крови озера.
А в углу близ стены вся упрек и испуг ---
Мария Вечора.

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

XVI СТОЛЕТИЕ

1

Прощался с нежным прошлым голос,
Моля простить измену дев,
И заплетали девы волос,
Невесту в белое одев.
Ее белее не был одолен,
Когда свой рок вняла у них.
И не подымала глаз с колен,
Когда мимо нее прошел жених.
Она сидела в белом вся,
Как жертва агня вначале,
О чем-то нежное, прося,
Уста шептали и молчали.
Она сидела в низком кресле,
Ее охорашивали нему.
Думы к грядущему знать чресла
Летели, нежные, к нему.

2

Было тесно на пиру,
На столе было тесно медам.
„Красавицу беру,
Отцу сейчас я честь воздам!“
„Честь ждет тебя великая“,
Царь захохотал.
Шут, над плечом царя хихикая,
О чем-то с радостью шептал.

Отец о чести, весел, грезил,
Не мнил, пируя, ни о чем,
Когда из рук летящий жезел
Его седин стал палачом.
И он упал, брадою страшен,
Ее подняв, как глаз слепца.
Так между блюд и между брашен
Жених казнил жены отца.
И стол — изделие столяров —
Стонал под тяжестью „ударю“,
Когда звон гусель гусяров
Хвалу вел государю.
И на поверхность пола доск,
Сквозь пира досок трещины,
Лился на землю струйкой мозг
Того, чья честь была обещана.

3

И царь был бешено красив,
Слова вонзая долгой мукой,
Ее неспящую спросив:
„Что будет мне в любви порукой
.“
Глаз из седых смотрел бровей,
Седой паук как из тенет,
И лишь раздался соловей,
Супруг, стуча по полу палкой,
Он из опочивальни идет прочь,
Под ропот девы жалкий:
„Меня безвинно не порочь“.
Но кто невесты лепет слушал?
Он погашен глухим рыданьем.

Шаги уходят дальше, глуше,
Как будто идут на свиданье.
И вздрогнул пол и сотряснулись окна,
Когда, кидая, бешен, взор,
Был посох в землю воткнут,
И царь пошел на конный двор.
Он дверью дальней хлопнул,
Кому-то крикнул: „гей!“
И засуетились холопы,
Тревожа стойлами коней.

4

Одна в полурассветной теми
Она плечами вздрагивает в рыданьях,
Мыслью уходя за теми,
Кто отдал ее сюда печальной данью.
„Вот голубица.
Ее ли коршуну не клевать?
Она будет биться.
Задержите кровать“.
Один возьмет ее пусть в стане,
Другой пусть у изголовья встанет,
Закройте чем-нибудь колени.
Не слушайте молений“.
Слуги с злорадством в взоре блещут,
Несут ее не бережней, чем вещи.
Не вырвался крик сквозь сомкнутости уст,
Но глаз блестел сквозь золотой кос куст.
И двое молодых рабов
Страшной подверглися опале:
За то, что нежную почувствовали любовь,
На землю мертвыми упали.

Ее молчащую садили
В колышась ждущей колымаге,
Чтобы в озерном тонком иле
Холмом прозрачным стала влага.
Были кони разъярены,
Шею гнула пристяжка косая,
Были зубы оголены,
Они приподымали губы, кусая.
И кони бешено храпели,
И тройка дикая рвалась,
Когда соседние пропели
Чернцы: „Спаси, помилуй нас!“

И царь пронзительно загинал
И о крыльцо ногой затопал.
Были кони слишком тихи,
Были слуги слишком робки!
С пронзительным глухим криком
С цепей спускал царь псов,
Когда путь тройке дикий
Раскрыл двора ворот засов.
Скакали псы вслед тройке, лая.
В клубах крутящей ее пыли
Княжна, едва живая,
Узрела озера залив.
И кони прянули с обрыва
И плыли, рассекая твердь,
И в этот миг бессмертие как красива
Она одно просила: смерть.

Исчезли со дна вздохи,
Стал пищей нежной труп.

А там под звон и хохот
Царь ищет встречных губ.
Была ее душа —
Дум грустных улей,
Когда, сомнением дыша,
Над нею волны вход сомкнули.
И в миг, когда водяного деда челядь
Ей созидала в хлябях встречу,
Ей вспоминалися качели
И сенных девушек за песней вече.
Ей вспоминалась речь бояр
И говор старых мамок,
Над речкой красный яр
И отчий древний замок.
И вспомнился убийца отний,
Себя карающий гордец,
Тот, что у ней святыню отнял,
Союз пылающих сердец.
Думы воскресали,
Бия, как волны в мель откоса.
Утопленницы чесали
Ее золотые косы
Завивая, —
Княжна стояла, как живая

ЖУРАВЛЬ

В. Каменскому.

На площади в влагу входящего угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей,
Там мальчик в ужасе шептал: ей-ей!
Смотри, закачались в хмеле трубы — те!
Бледнели в ужасе зайки губы,
И взор прикован к высоте.
Что? Мальчик бредит на-яву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит: какие страшные
скачки!

Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи,
Как на стене тень пальцев ворожей.
Так делаются подвижными дотоле неподвижные
на болоте выпи,
Когда опасность миновала.
Среди камышей и озерной кипи
Птица-растение главою закивала.

Но что же? Скачет вдоль реки в каком-то вихре
Железный, кисти руки подобный, крюк.
Стоя над волнами, когда они стихли,
Он походил на подарок на память костяку рук!
Часть к части, он стремится к вещам с неведомой
еще силой,
Так узник на свидание стремится навстречу милой!

Железные и хитроумные чертоги в каком-то
яростном пожаре,
Как пламень возникающий из жара,
На место становясь, давали чуждо ноги.

Трубы, стоявшие века,
Летят,
Движениям подражая червяка,
Игривей в шалости котят.
Тогда части поездов, с надписью „для некурящих“
и „для служилых“,
Остов одеи в сплетенные друг с другом жилы.
Железные пути срываются с дорог
Движением созревших осенью стручков.
И вот и вот плывет по волнам, как порог,
Как Неясыть иль грозный Дитинец, от берегов
отпавшийся Тучков!

О, род людской! Ты был, как мякоть,
В которой созрели иные семена!
Чертя подошвой грозной слякоть,
Плывут восстанием на тя иные племена!
Из желез
И меди над городом восстал, грозя, костяк,
Перед которым человечество и все иное лишь
пустяк,

Не более одной желёз.
Прямо летящие, в изгибе ль,
Трубы возвещают человечеству погибель.
Трубы незримых духов се! Поют:
Змее с смертельным поцелуем
Была людская грудь уют.

Злей не был и кошей,
Чем будет, может быть, восстание вещей.
Зачем же вещи мы балуем?

Вспенив поверхность вод,
Плывет наперекор волне железно-стройный плот.
Сзади его раскрылась бездна чорна,
Разверзся в осень плод,
И обнажились, выпав, зерна.
Угловая башня, не оставив глашатая полдня —
длинную пушку,

Птицы образует душку.
На ней в белой рубашке дитя
Сидит безумнее, летя.
И прижимает к груди подушку.
Крюк лазает по остову
С проворством какаду.
И вот рабочий, над Лосьим островом,
Кричит безумный „упаду“.
Жукообразные повозки,
Которых замысел по волнам молний сил гребет,
В красные и желтые раскрашенные полоски,
Птице дают становой хребет.

На крыше небоскребов
Колыхались травы устремленных рук.
Некоторые из них были отягощением чудовища зоба
В дожде летящих в небе дуг.
Летят, как листья в непогоду,
Трубы, сохраняя дым и числа года.
Мост, который гиератическим стихом
Висел над шумным городом,

Объяв простор в свои кова,
Замкнув два влаги рукава,
Вот медленно трогается в путь
С медленной походкой вельможи, которого обшита
золотом грудь,

Подражая движению льдины,
И им образована птицы грудина.
И им точно правит какой-то кочегар,
И, может быть, то был спасшийся из воды в рубахе
красной и лаптях волгарь

С облипшими ко лбу волосами
И с богомольными вдоль щек из глаз росами.
И образует птицы кисть
Крюк, остаток от того времени, когда четверолапым
зверем только ведал жисть.

И вдруг бешеный ход дал крюку возница,
Точно когда кочегар геростратическим желанием
вызвать крушение поезда соблазнится.

Много — сколько мелких глаз в глазе стрекозы, —
оконные

Дома образуют род ужасной селезенки,
Зелено-грязный цвет ее исконный.

И где-то внутри их, просыпаясь, дитя отирает
глазенки.

Мотри! Мотри! Дитя,

Глаза, протри!

У чудовища ног есть волос буйнее меха козы.

Чугунные решетки — листья в месяце осени,

Покидая место, чудовища меху дают ось они.

Железные пути, в диком росте,

Чудовища ногам дают легкие трубчатообразные
кости,

Сплетаясь змеями в крутой плетень,
И длинную на город роняют тень.

Полеты труб были так беспощадно явки,
Покрытые точками точно пиявки,
Как новобранцы к месту явки,
Летели труб изогнутых пиявки —
Так шея созидалась из многочисленных труб.
И вот в союз с вещами летит поспешно труп.
Строгие и сумрачные девы
Летят, влача одежды, как ветра сил напевы.

Какая-то птица, шагая по небу ногами могильного
холма

С восьмиконечными крестами,
Раскрыла далекий клюв
И половинками его замкнула свет,
И в свете том яснеют толпы мертвецов,
В союз спешащие вступить с вещами.

Могучий созидался остов.
Вещи выполняли какой-то давнишний замысел,
Следуя старинным предназначениям.
Они торопились, как заговорщики,
Возвести на престол: кто изнемог в скитаниях,
Кто обещал:
„Я лалы городов вам дам и сел,
Лишь выполните, что я вам возвещал“.
К нему слетались мертвецы из кладбищ
И плотью одевали остов железный.
„Ванюша Цветочкин, то Незабудкин бишь“, —
Старушка уверяла: — „он летит болезный“.

Изменники живых,
Трупы злорадно улыбались,
И их ряды, как ряды строевых,
Над площадью желчно колебались.
Полувеликан, полужуравель
Он людом грозно правил,
Он распростер свое крыло, как буря волокна,
Путь в глотку зверя предуказан был человечку,
Как воздушинке путь в печку.
Над готовым погибнуть полем
Узники бились головами в окна,
Моля у нового бога воли.
Свершился переворот. Жизнь уступила власть
Союзу трупа и вещи.
О человек! Какой коварный дух
Тебе шептал, убийца и советчик сразу:
Дух жизни в вещи влей!
Ты расплескал безумно разум,
И вот ты снова данник журавлей.
Беды обступали тебя снова темным лесом,
Когда журавль подражал в занятиях повесам,
Дома в стиле ренессанс и рококо —
Только ягель, покрывший болото.
Он пляшет в небе высоко,
В пляске пьяного сколота.
Кто не умирал от смеха, видя,
Какие выкидывает в пляске журавель коленца.
Но здесь смех приобретал оттенок безумия,
Когда видели исчезающим в клюве младенца.
Матери выводили
Черноволосых и белокурых ребят
И, умирая, во взоре ждали.

Одни от счастья лицо и концы уст зыбят,
Другие, упав на руки, рыдали.

Старосты отбирали по жеребьевке детей —

Так важно рассудили старшины. —

И набросав их, как золотистые плоды в глубь
сетей,

К журавлю подымали в вышины.

Сквозь сетки ячейки

Опускалась головка, колыхая шолком волос.

Журавль, к людским пристрасться обедням,

Младенцем закусывал последним.

Учителя и пророки

Учили молиться, о неборимом говоря роке.

И крыльями протяжно хлопал

И порой людишек скучно лопал.

Он хохот-клик вложил

В победное „давлю“.

И, напрягая дуги жил,

Люди молились журавлю.

Журавль пляшет звончее и гольче еще,

Он людские крылом разметает полчища,

Он клюв одел остатками людского мяса.

Он скачет и пляшет в припадке дикого пляса.

Так пляшет дикарь над телом побежденного врага.

О, эта в небо закинутая в веселии нога.

Но однажды он поднялся и улетел в даль.

Больше его не видали.

ПОВЕСТЬ КАМЕННОГО ВЕКА

1

— Где И?
В лесу дремучем
Мы тщетно мучим
Свои голоса.
Мы кличем И,
Но нет ея,
В слезах семья.
Уж полоса
Будит зари
Все жития,
Сны бытия.

2

Сучок
Сломился
Под резвой векшей.
Жучок
Изумился
На волны легши.
Волн дети смеются,
В весельи хохочут,
Трясут головой,
Мелькают их плечики,
А в воздухе вьются,
Щекочут, стрекочут
И с песней живою
Несутся кузнечики.

3

— О, бог реки,
О, дед волны!
К тебе старики
Мольбой полны.
Пусть вернется муж с лососем
Полновесным, черноперым.
Седой дедушка, мы просим,
Опираясь шестопером.
Сделай так, чтоб, бег дробя,
Пали с стрелами олени.
Заклинаем мы тебя,
Упадая на колени.

4

Жрецов песнопений
Угас уже зой.
Растаял дым,
А И ушла, блестя слезой.
К холмам седым
Вел нежный след ее ступеней.
То, может, блестела звезда,
Иль сверкала росой паутина?
Нет, то речного гнезда
Шла сиротина.

5

Помята трава.
Туда! Туда!
Где суровые люди
С жестоким лицом.

Горе, если голова,
Как бога еда,
Несется на блюде
Жрецом.

6

Плачьте волны, плачьте дети!
И, красивой, больше нет.
Кротким людям страшны сети
Злого сумрака тенет.
О, поставим здесь холмы
И цветов насыпем сеть,
Чтоб она из царства тьмы
К нам хотела прилететь,
От погони отдыхая
Злых настойчивых ворон,
Скорбью мертвых утихая
В грустной скорби похорон.
Ах, становище земное
Дней и бедное длиною
Скрыло многое любезного
Сердцу пламени надзвездного.

7

Уж белохвост
Проносит рыбу.
Могуч и прост
Он сел на глыбу.
Мык раздался
Неведомого зверя.
Человек проголодался,
Взлетает тетеря.

Властители движению
Небесные чины,
Вести народ в сражение
Страстей обречены.
В бессмертье заковав себя,
Святые воеводы
Ведут, полки губя
Им преданной природы.
Огромный качается зверя хребет,
Чудовище вышло лесное.
И лебедь багровою лапой гребет —
Посланец метели весною.

8

И: Так труден путь мой и так долог,
И грудь моя тесна и тяжка,
Меня порезал каменный осколок,
Меня ведет лесная пташка.
Вблизи идет лучистый зверь.
Но делать что теперь
Той, что боязливей сердцем птичек?
Но кто там? Бег ужель напрасен?
То Э, спокойствия похитчик.
Твой вид знакомый мне ужасен!
Ты ли это, мой обидчик?
Ты ли ходишь по пятам
Вопреки людей обычаю,
Всюду спутник здесь и там
Рядом с робкою добычью?
Э! Я стою на диком камне,
Простирая руки к бездне,
И скорей земля легка мне

Будет, чем твоей любезной
Стану я, чье имя И.
Э! Уйди в леса свои.

9

Э: О зачем в одежде слез,
Серной вспрыгнув на утес,
Ты грозишь, чтоб одинок
Стал утес,
Окровавив в кровь венки
Твоих кос?
За тобой оленьим лазом
Я бежал, забыв свой разум,
Путеводной рад слезе,
Не противился стезе.
Узнавая лепестки,
Что дрожат от края ног,
Я забыл голубые пески
И пещеры высокий порог.

10

Лесную опасность
Скрывает неясность.
Что было бы со мной
Недавней порой?
Зверь с ревом гаркая
(Страшный прыжок,
Дыхание жаркое),
Лицо ожог.
Гибель какая!
Дыхание дикое,
Глазами сверкая.

Морда великая...
Но нож мой спас,
Не то я погиб.
На этот раз
Был след ушиб.

11

И: Рассказать те могу ли?
В водопада страшном гуле?
Но когда-то вещуны
Мне сказали: он и ты
Вы нести обречены
Светоч тяжкой высоты.
Я помню явление мужа:
Он, крыльями голубя пестуя
И плечами юноши уже,
Нарек меня вечной невестою.
Концами крыла голубой,
В одежде огня золотой,
Нарек меня вечной вдовой.
Пути для жизни разны:
Здесь жизнь святого — там любовь.
Нас стерегут соблазны,
Зачем предстал ты вновь?
Дола жизни страшен опыт
Он страшит, страшит меня!
За собой я слышу топот
Белоглавого коня.

12

Э: Неужели лучшим в страже,
От невзгод оберегая,

Не могу я робким даже
Быть с тобою, дорогая?
Чистых сердцу святая нить
Все вольна соединить,
Жизни все противоречья!
Лучший воин страшных сеч я
Мне тебя не умолить!

13

И: Так отвечу: хорошо же!
Воин верный будешь мне.
Мы вдвоем пойдем на ложе,
Мы сгорим в людском огне.

14

Э: Дева женная, подумай,
Или все цветы весны
На суровый и угрюмый
Подвиг мы сменить вольны?
Рок-Судья! Даруй удачу
Ей в делах ее погонь.
Отойду я и заплачу,
Лишь тебя возьмет огонь.
Ты на ложе из жарких цветов,
Дева сонная, будешь стоять.
А я, рыдающий, буду готов
В себя меча вонзить рукоять.
Жрец бросает чет и нечет
И спокойною рукой
Бытия невзгоды лечит
Неразгаданной судьбой.
Но как быть, кого желанья

Божьей бури тень узла?
Как тому, простерши длани,
Не исчезнуть в сени зла?
Слишком гордые сердца,
Слишком гневные глаза,
Вы, как копья храбреца,
Для друзей его гроза.
Там, где рокот водопада
Душ любви связует нить,
И любимая, не надо
За людское люд винить.
Видно, так хотело небо
Року тайному служить,
Чтобы клич любви и хлеба
Всем бывающим вложить.
Солнце дымом окружить.

15

Угас, угас
Последний луч.
Настал уж час
Вечерних туч.
Приходят рыбаки
На радости улова.
В их хижинах веселье.
Подруги кроткие зари,
Даруя небу ожерелье,
На небосклон восходят снова.
Уже досуг
Дневным суетам
Нес полукруг,
Насыщен светом.

Кто утром спит,
Тот ночью бесится.
Волшебен стук копыт
При свете месяца.
Чей в полночь рок греметь,
То тихо блистающим днем,
Шатаясь проходит великий медведь,
И прыгает травка прилежным стеблем.
Приносит свободу,
Дарует истому,
Всему живому
Ночью отдых.

16

И: Мы здесь идем. Устали ноги,
И в жажде дышит слабо грудь.
Давно забытые пороги
О, сердце кроткое, забудь!
Сплетая ветки в род шатра,
Стоят высокие дубы.
Мы здесь пробудем до утра —
Послушно ждет удар судьбы.

17

Жрец: Где прадеды в свидании
Надменно почивали,
Там пленники изгнания
Сегодня ночевали.
Священным дубровам
Ущерблена честь.
Законом суровым
Да будет им Мечь.

Там сложены холмы из рог
Убитых в охотах оленей.
То теней священных урок,
То роща усопших селений.

18

Т о л п а: Пошли отряд
И приведи сюда!
Сверши обряд,
Пресекши года.

19

Ж р е ц: О, юноши, крепче держите
Их! Помните наши законы:
Веревкой к столбу привяжите,
И смелым страшны похороны.
И если они зачаруют
Своей молодой красотой,
То, помните, боги ликуют,
Увидев дым жертв золотой.

20

Вот юный и дева
Взошли на костер.
Вкруг них огонь из зева
Освещает жриц сестер.
Как будто сторож умиранью,
Приблизясь видом к ожерелью,
Искр летающих собранье
Стоит над огненной постелью.

21

Но спускается дева
Из разорванных радугой туч,

И зажженное древо
Гасит сумрака луч.
И из пламенной кельи,
Держась за руку, двое
Вышли. В взорах веселье
Ликует живое.

22

И: Померкли все пути,
Исполнены обеты.
О, Э! Куда итти?
Я жду твои ответы!
Слышишь, слышишь, лес умолк
Над проснувшейся дубровой?
Мы свершили смелый долг,
Подвиг гордый и суровый.

23

Толпа ро- Осужденных тела выкупая,
дичей: Мы пришли сюда вместе с дарами.
Но тревога, на мудрость скупая,
Узнает вас живым и во храме.
Мы славим тех,
Кто был покорен крику клятвы,
Кого боялся зоркий грех,
Сбирая дань обильной жатвы.
Из битвы пламеней лучистой
Кто вышел невредим.
Кто поборол душою чистой
Огонь и дым.
Лишь только солнце ляжет,
В закате догорая,
Идите нами княжить,
Страной родного края.

ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ

1

„Мы боги“ — мрачно жрец сказал
И на далекие чертоги
Рукою сонно указал.
„Холодным скрежетом пилы
Распались трупы на суставы,
И мною взнузданы орлы
Взять в клювы звездные уставки.
Давно зверь, сильный над косулей,
Стал без власти божеством.
Давно не бьем о землю лбом,
Увидя рощу или улей.
Походы мрачные пехот,
Копьем убийство короля,
Послушны числам, как заход,
Дождь звезд и синие поля.
Года войны, ковры чуме,
Сложил и вычел я в уме.
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу.
В его холодные чертоги
Идут изгнанницы тревоги.
И мы стоим миров двух между,
Несем туда огнем надежду.
Все же самозванцем поцелуйным,
Перед восшествием чумы,
Был назван век рассудком буйным.
Смеется шут, молчат умы.

Наукой гордые потомки
Забыли кладбищей обломки.
И пусть нам поступь четверенек
Давно забыта и чужда,
Но я законов неба пленник,
Я самому себе изменник,
Отсюда смута и вражда.
Венком божеств наш ум венчается,
Но, кто в надеждах жил, отчаётся.
„Ты — звездный раб,
Род человеческий!“
Сказал, не слаб,
Рассудок жреческий.

„И юность и отроки наши
Пьют жизнь из отравленной чаши.
С петлею протянутой столб
И бегство в смерти юных толп,
Все громче, неистовой возгласы похоти
В словесном мерцающем хохоте.
О, каменный нож,
Каменных доск!
— Пламенный мозг,
— То молодежь!
Трудился я. Но не у оконченного здания
Бросаю свой железный лом!
Туда, к престолу мироздания,
Хочу лететь вдвоем с орлом!
Чтобы, склонив чело у ног,
Сказать: устал и изнемог!
Пусть сиротеет борода,
Жреца прими к себе, звезда“.

Рабыня: Юноша светел
 Небо заметил.
 Он заметил тих и весел
 Звезды истины на мне.
 Кошелек тугой привесил,
 Дикий, стройный, на ремне.
 К кошельку привесил ножик,
 Чтоб застенчиво и впредь
 С ним веселых босоножек
 Радость чистую смотреть.
 С ним пройдуся я, скача,
 Рукавом лицо ударив,
 Для усмешки отроча,
 Для веселых в сердце зарев.

Жрец: Косы властны чернотой,
 Взор в реснице голубой,
 Круг блистает золотой,
 Локоть взяв двойной длиной.
 Кто ты?
 С взором незабудки.
 Жизнь с тобой шутила шулки.

Рабыня: Твои остроты,
 Жрец, забавны.
 Ты и я — мы оба равны.
 Две священной единицы
 Мы враждующие части.
 Две враждующие дробы.
 В взорах розные зенницы.
 Две как мир старинных власти,
 Берем жезл и правим обе.

Ты возник из темноты,
Но я более, чем ты:
Любезным сделав яд у ртов,
Ты к гробам бросил мост цветов.
К чему товарищ в час резни?

Жрец: Поостерегися... не дразни...
Зачем смеешься и хохочешь?

Рабыня: Хочешь?

Стань палачом,
Убей меня, ударь мечом?
Рука подняться не дерзает?
На части тотчас растерзает
Тебя рука детей, внучат,
На плечи, руки и куски.
И кони дикие умчат
Твой труп разодранный в пески.
Ах, вороным тем табуном
Богиня смерти, гикнув, правит.
А труп, растоптан скакуном,
Глазами землю окровавит.
Ведай, знай: сам бог земной
Схватит бешено копье
И за честь мою заступится.
Ты смеешься надо мной,
Я созвучие твое,
Но убийцы лезвие,
Наказание мое,
Ценой страшною окупится.
Узнает город ста святош,
Пред чем чума есть только грош.

Замажешь кровью птичьего гнезда,
И станут маком все цветы.
И молвят люди, скажут звезды,
Был справедливо каран ты.
След протянется багровый,
То закон вещей суровый.
Узнай, что вера — нищета,
Когда стою иль я иль та.
Ты, дыхание чумы,
Веселишь рабынь умы!
С ним же вместе презираю
Путь к обещанному раю.
Ты хочешь крови и похмелий!
Рабыня я ночных веселий!

Жрец: Довольно,
Лживые уста!

Рабыня: Мне больно, больно!
Я умираю, я чиста.

Жрец: Она красива умерла,
Внутри волос золотых узла.
И, как умершая змея,
Дрожат ресницы у нея.
Ее окончена стезя.
Она мечом убита грубым.
Ни жить, ни петь уже нельзя.
Плясать, к чужим касаться губам.
Меч стал сытым кровью сладкой
Полоумной святотатки,
Умирающей загадкой
Ткань вопросов стала краткой.

Послушный раб ненужного усилья!
Сложи, о, коршун, злые крылья!
Иди же в ножны, ты не нужен,
Тебя насытил теплый ужин,
Напился крови допьяна.
Убита та, но где она?
Быть может, мести страшный храм?
Быть может здесь, быть может там?
Своих обид не отомстила,
И, умирая, не простила.

Не так ли разум умерщвляет,
Сверша властительный закон,
Побеги страсти молодой?
Та, умирая, обещает
Взойти на страстный небосклон
Возмездья красною звездой!

3

Прохожий: Точно кровь главы порожней,
Волны клещут, волны воют
Нынче громче и тревожней.
Скоро пристань воды скреют.
И хаты, крытые соломой,
Не раз унес могучий вал.
Свирельщик так, давно знакомый,
Мне ужас гибели играл.
Как будто недра раскаленные
Жерл огнедышащей горы,
Идут на нас валы зеленые,
Как люди вольны и храбры.

Не как прощальное приветствие,
Не как сердечное „прости“,
Но как военный клич и бедствие
Залились водами пути.
Костры горят сторожевые
На всех священных площадях,
И вижу — едут часовые
На чолнах, лодках и конях.
Кто безумно, кто жестоко
Вызвал твой, о, море, гнев?
Видно мне чело пророка,
Молний брошенный посев.
Кто-то в полночь хмурит брови,
Чей-то меч блеснул, упав.
Зачем, зачем? Ужель скуп к крови
Град самоубийства и купав?
Висит — надеяться не смеем мы—
Меж туч прекрасная глава.
Покрыта трепетными змеями,
Сурова, точно жернова.
Смутна, жестока, величава,
Плывет глава, несет лицо.
В венке темных змей курчаво
Восковое змей яйцо.
Союз праха и лица
Разрубил удар жестокий,
И в обитель палача
Мрачно ринулись потоки.
Народ свой ужас величающий,
Пучины рев и звук серчающий
И звезды — тихие свидетели
Гробницы зла и добродетели.

Город гибнет. Люди с ним.
Суша — дно. Последних весть.
Море с полчищем своим
Все грозит в безумстве снесть.

И вот плывет между созвездий,
Волнуясь черными ужами,
Лицо отмщенья и возмездий,
Глава отрублена ножами.
Повис лик длинно-восковой,
В змей одежде боковой,
На лезвее лежит ножа.
Клянусь, прекрасная глава,
Она глядит, она жива,
Свирель морского мятежа.
На лезвее ножа лежа,
В преддверье судеб рубежа,
Глазами тайными дрожа,
Где туч и облака межа,
Она пучины мести вождь.
Кровавых капель мчится дождь.

О, призрак прелести во тьме!
Царица равная чуме!
Ты жила лишеной чести,
Ныне ты богиня мести.
О, ты, тяжелая змея,
Над хрупким образом ея.
Отмщенья страшная печать
И ножен мести рукоять.
Змей сноп, глава окровавленная,
Бездна месть ее зеленая.

Под удары мерной гребли
Погибает люд живой,
И ужей вздыбились стебли
Над висячею главой.
О, город, гибель созерцающий,
Как на бойнях вол, спокойно.
Валы гремят, как меч бряцающий,
Свирели ужаса достойно.
Погубят прежние утехы
Моря синие доспехи.

Блеск, хлещет ливень, свищет град
И тонет, гибнет старый град!
Она прической змей колышет,
Она возмездья ядом дышит.

И тот, кто слушал, слово слышит:
„Я жреца мечом разрублена,
Тайна жизни им погублена,
Тайной гибели я вею,
У созвездья Водолея
Мы резвились и пели,
Вдруг удар меча жреца!
Вы живыми быть сумели,
Схоронив красу лица.

И забыты те, кто выбыли!
Ныне вы в преддверьи гибели.
Как вы смели, как могли вы
Быть безумными и живы!
Кто вы? Что вы? Вы здоровы!
Стары прежние основы.

Прежде облик восхищения,
Ныне я богиня мщения“.

Вверху ужей железный сноп,
Внизу идет, ревет потоп.
Ужасен ветер боевой,
Валы несутся, все губя.
Жрец, с опущенной головой:
— Я знал тебя!

ШАМАН И ВЕНЕРА

Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна.
В ее глазах светла отвага
И страсти гордый гневный зной:
Она пред ним стояла нага,
Блестя роскошной пеленой.
Казалось, пламенный пожар
Ниспал, касаясь древка снега.
Глаз голубых блестел стожар,
Прося у желтого ночлега.
„Могол!“ — свои надувши губки,
Так дева страсти начала
(Мысль, рождена из длинной трубки,
Проводит борозды чела): —
„Ты стар и бледен, желт и смугол,
Я же роскошная река!
В пещере дикой дай мне угол,
Молю седого старика.
Я, равная богиням,
Здесь проведу два-три денька.
Послушай, рухлядь отодвинем,
Чтоб сесть двоим у огонька.
Ты веришь? — видишь? — снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покровы и досуга
Среди сибирских дикарей.

Еще того недоставало —
Покрыться пятнами угрей.
Могол! Могол! как я страдала!
Возьми меня к себе, согрей!“
Покрыта пеплом из снежинок,
И распустив вдоль рук косу,
Она к нему вошла. Как инок
Он жил один в глухом лесу.

„Когда-то храмы для меня
Прилежно воздвигала Греция.
Могол, твой мир обременя,
Могу ли у тебя согреться я?
Меня забыл ваять художник.
Мной не клянется больше витязь.
Народ безумец, народ безбожник,
Куда идете, оглянитесь?“
„Не так уж мрачно“, —
Ответил ей, куря, шаман: —
„Озябли вы, и неудачно
Был с кем-нибудь роман“.

„Подумай сам: уж перси эти
Не трогают никого на свете.
Они полны млека, как крынки!
(По щекам катятся слезинки).
И к красоте вот этой вы
Холодны юноши живые.
Ни юношей, ни полководцев,
Ни жен любимцев, ни уродцев,
Ни утомленных стариков,
Ни в косоворотках дураков, —

Они когда-то увлекали
Народы, царства и престолы,
А ныне, кроткие, в опале,
Томятся спрятанные в полы.
И веришь ли? Меня заставили одеть
Вот эти незабудки,
Ну, право, лучше умереть,
Чем эти шутки.
Это жестоко“. Она отошла
И, руки протянув, вздохнула:
„Как эта жизнь пошла!“
И руки к небу протянула.
„Все, все, могол, все, все — тщета,
Мы — дети низких вервий.
И лики девы — нищета,
Когда на ней пируют черви!“
Шаман не верил и смотрел,
Как дева (золото и мел)
Присела, зарыдав,
И речь повел, сказав:
„Напрасно вы сели на обрубок —
Он колок и оцарапает вас“.
Берет с стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.
Он замолчал и, тих, курил,
Смотря в вечернее пространство.
Любил убрать, что говорил,
Он в равнодушия убранство.
И Дева нежное спасибо
Ему таинственно лепечет.
И глаза синего изгиба
Взор шаловливо мечет,

И смотрит томно, ибо
Он был красив, как белый кречет.

Часы летели и бежали,
Они в пещере были двое.
И тени бледные дрожали
Вокруг вечернего покоя.
Шаман молчал и вдаль глядел,
Венера вдруг зевнула.
В огонь шаман глядел.
Венера же уснула.
Заветы строгие храня
Долга к пришельцам святого,
Могол сидел, ей извиня
Изгибы тела молодого.
Ах, ах! — она во сне вздыхала,
Порою глазки открывала,
Кого-то слабо умоляла,
Защитой руку подымая,
Кому-то нежно позволяла
И улыбалася младая.

И вот уж утро. Прокричали
На елях бледные дрозды.
Полна сомнений и печали,
Она на смутный лик звезды
Взирала робко и порой
О чем-то тихо лепетала,
Про что-то тихо напевала.
Бледнело небо и светало.
Всходило солнце. За горой
О чем-то роща лепетала.

От сна природа пробудилась,
Младой зари подняв персты.
Венера точно застыдилась
Своей полночной наготы.
И, добродетели стезей идя неопытной ногой,
Она раздумывала: прилично ли нагой
Явиться к незнакомому мужчине.
Но был сокрыт ответ богини.
[„Он мало мне знаком“ —
Она в уме своем решила,
Сорвать листочек поспешила
И тело бледное прикрыла
Березы черным лепестком.
И великодушный к ней могол
Ей бросил шкуру рыси], ¹
И дева, затаив глагол,
Моголу бросила взор выси.

От кос затылок оголив,
Одна, без помощи подруг,
Она закручивает их в круг.
Но тот, как раньше, молчалив.
Затылок белый так прекрасен,
Для чистых юношей так ясен.
Но, лицемерия престол,
Сидит задумчивый могол.
Венера ходит по пещере
И в горести ломает руки.
„Это какие-то звери!
Где песен нежных звуки?”

¹ Взятые в [] скобки приписано на полях и может являться вариантом.

От поцелуев прежних зноя,
Могол! могол, спаси меня!
Я вся горю! горя и ноя
Живу, в огнистый бубен чувств звеня.
Узнай же! знаешь, что тебе шепну на ухо?
Ты знаешь? знаешь? — я старуха!..
Никто не пишет нежных писем,
Никто навстречу синим высям
Влюбленных глаз уж не подьмет,
Но всякий хладно с книжкой дремлет.
[Но всякий хладно убегает
Прочь от себя за свой порог,
Лишь только сердце настигает
Любви назначенный урок]
Как все это жестоко! —
Сказала дева, вдруг заплавав:—
„Скажи хоть ты: ужель с Востока
Идет вражда к постелям браков?
[К ногам снегов, к венкам из маков?]
С хладом могилы отрок одинаков.“

Но неразговорчив и сердит
Как будто, тот сидит.
Напрасно с раннего утра,
Раньше многоголосых утра дудок,
Она из синих незабудок,
В искусстве нравиться хитра,
Сплела венок почти в шесть сажен
И им обвилась для нежных дел,
Попрежнему могол сидел
Угрюм, задумчив, важен.
Вдруг сердце громче застучало.

„Могол, послушай“, — так начала
Она: — „быть может речь моя чудна
И даже дика и мало прока.
Я буду здесь бродить одна
(Ты знаешь: я ведь одинока),
Срывать цветы в густом лесу,
Вплетать цветы в свою косу.
Вдали от шума и борьбы,
Внутри густой красивой рощи
Я буду петь, собирать грибы,
[Искать в лесу святого мощи,
Что может этой жизни проще?“]
„Изволь душа моя“, — ответил
Могол с сияющей улыбкой: —
„Я даже в лесу встретил
Дупло с прекрасной зыбкой“.
В порыве нежном хорошея,
Она бросается ему на шею,
Его ласкает и целует,
Ниспали волосы, как плащ.
Могол же морщится, тоскует.
Она в тот миг была палач.
Она рассказывает ему
Про вредный плод куренья.
„Могол любезный, не кури!
Внемли рыданью моему“.
Он же с глазами удовлетворенья
Имя произносит Андури.
Шаман берет рукою бубен
И мчится в пляске круговой.
Ногами резвыми стучит,
Венера скорбная молчит

Или сопровождает голос трубен,
Дрожа звенящей тетивой.
Потом хватает лук и стрелы
И мимо просьб, молитв, молений,
Идет охотник гордый, смелый
К чете пасущихся оленей.
И он таинственно исчез,
Где рос густой зеленый лес.
Одна у раннего костра
Венера скорбная сидит.
То грусть. И ей сестра
Она задумчиво молчит.
Цветы сплетая в сарафан,
Как бело-синий истукан,
Глядит в необеспокоенные воды,
Зеркало окружающей природы.
Поет, хохочет за двоих.
Или достает откуда-то украдкой
Самодержавия портных
Новое уложение законов
И шепчет тихо: „Как гадко!..“
Или: „как безвкусно... фу, вороны!“
Сам-друг с своею книжкой
Она прилежно шепчет, изучает,
Воркует, меряет под мышкой
И... не скучает.
И воды после переходит,
И по поляне светлой бродит.
Сплетает частые венки,
На косах солнца седоки.
[О чем-то с горлинкой воркует
И подражательно кокует]

Венера села на сосновый пенъ
И шепчет робко: „Ветер телепень!
Один лишь ты меня ласкаешь
Своею хрупкою рукой,
Мне один не изменяешь,
Людей отринувши покой.
Лишь тебе бы я дарила
Сном насыщенный ночлег,
Двери я бы отворила,
Будь ты отрок, а не бег...
Будь любимый человек...
Букашки и все то, что мне покорно!
Любите, любите друг друга проворно!
Счастье не вернется никогда!“

И вот приходит от труда,
Ему навстречу выбегает,
Его целует и ласкает,
Берет оленя молодого,
На части режет, и готово
Ее стряпни простое блюдо;
Сидит и ест: ну, право же, не худо!
Шаман же трубку тихо курит
И взор устало томно шурит.
И, как чудесная страна,
Пещера в травы убрана.

Однажды белый лебедь
Спустился с синей высоты,
Крыло погибшее колебит
И, умирая, стонет: „Ты!
Иди, иди! тебя зовут,
Иди верши свой кроткий труд.

От крови черной пегий
Я, умирающий, клянусь,
Иди, иди, чаруя негой
Свою забытую страну.
Тебе племен твоих собор
Готовит царственный убор.
Иди, иди, своих лелея!
Ты им других божеств милее.
Я, лебедь умирающий, клянусь:
Дитя, вернись в свою страну,
Забыв страну озер и мохов,
Иди, приемля дань из вздохов“.

И лебедь лег у ног ея,
Как белоснежная змея.
Он, умирающий, молил
И деву страсти умилил.

„Шаман, ты всех земных мудрей!
Как мной любима смоль кудрей,
И хлад высокого чела,
И взгляда острая пчела.
Я это все оставляю,
Но в песнях юноши прославлю.
Вот эти косы и эту грудь,
Ведун мой милый, все забудь!
И водопад волос могуче рыжий,
И глаз огонь моих бесстыжий,
И грудь и твердую и каменную,
И духа кротость пламенную.
Как часто после мы жалеем
О том, что раньше бросим!“
И, взором нежности лелеем,

Могол ей молвит: „Просим
Нас не забывать,
И этот камень дикий, как кровать,
Он благо заменял постели,
Когда с высокой ели
Насмешливо свистели
Златые свиристели“.
И с благословляющей улыбкой
Она исчезает ласковой ошибкой.

Где Волга прянула стрелою
 На хохот моря молодого,
 Гора Богдо своей чертою
 Темнеет взору рыболова.
 Слово песни кочевое
 Слуху путника расскажет:
 Был уронен холм живой,
 Уронил его святой.
 — Холм, один пронзивший пажить!
 А имя, что носит святой,
 Давно уже краем забыто.
 Высокий и синий, боками крутой,
 Приют соколиного мыта!
 Стоит он, синея травой,
 Над прадедов славой курган.
 И подвиг его и доныне живой
 Пропел кочевник-мальчуган.
 И псов голодающих вторит ей вой.

Как скатерть желтая, был гол
 От бури синей сирий край.
 По ней верблюд, качаясь, шел
 И стрепетов пожары стай.
 Стоит верблюд сутул и длинен,
 Космат с чернеющим хохлом,
 Здесь люда нет, здесь край пустынен,
 Трепещут ястребы крылом.
 Темнеет степь; вдали хурул
 Чернеет темной своей кровлей

И город спит и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.

Как веет миром и язычеством
От этих дремлющих степей,
Божеств морских могил величеством,
Будь пьяным путник — пой и пей.
Табун скакал, лелея гривы,
Его вожак шел впереди.
Летит, как чайка на заливы,
Волнуя снежные извивы,
Уж исчезающий в дали.

Ах, вечный спор горы и Магомета,
Кто свят, кто чище и кто лучше.
На чьем челе коран завета,
Чьи брови гневны точно тучи.
Гора молчит, лаская тишь.
Там только голубь сонный несся.
Отсель урок: ты сам слетишь,
Желая сдвинуть сон утеса.
Но звук печально горловой,
Рождая ужас и покой,
Несется с каждою зарей,
Как знак: здесь отдых; путник, стой!
И на голубые минареты
Присядет стриж с землей на лапах,
А с ним любви к иным советы
И восковых курений запах.
Столбы, с челом цветочным Рима,
В пустыне были бы красивы.
Но редкой радугой любима
Она в песке хоронит ивы.

Другую жизнь узнал тот угол,
Где смотрит Африкой Россия.
Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист и смугол,
Где дышит в башнях Ассирия.
Мила, мила нам Пугачевщина,
Казак с серьгой и темным ухом,
Она знакома нам по слухам.
Тогда воинственно ножовщина
Боролась с немцем и треухом.

Ты видишь город стройный, белый,
И вид приволжского кремля?
Там кровью полита земля,
Там старец брошен престарелый,
Набату страшному внемля.
Уже не реют кумачи
Над синей влагою гусей.
Про смерть и гибель трубачи,
Они умчались от людей.
И Волги бег забыл привычку
Носить разбойников суда,
Священный клич „сарынь на кичку“
Здесь не услышать никогда.
Но вновь и вновь зеленый вал
Старинной жаждой моря выпит,
Кольцом осоки закрывал
Рукав реки морской Египет.
В святых дубравах Прометея
Седые смотрятся олени.
В зеркалах моря сиротея
С селедкой плавают тюлени,

Сквозь русских в Индию, в окно
Возили ружья и зерно
Купца суда. Теперь их нет.
А внуку враг и божий свет.

Лик его помню суровый и бритый,
Стада ладей пастуха.
Умер уж он; его скрыли уж плиты,
Итоги из камня и грез и греха.
Помню я свет отсыревшей божницы,
Там жабы печально резвились!
И надпись столетий в камней плащанице!
Смущенный, наружу я вышел и вылез,
А ласточки в воздухе вились,
У усыпальницы предков гробницы.

Чалмы зеленые толпой
Здесь бродят в праздник мусульман,
Чтоб предсказал клинок скупой,
Коней отмщенья водопой,
И месть гяуру (радость ран).
Казани страж — игла Сумбеки,
Там лились слез и крови реки.
Там голубь, теменем курчав,
Своих друзей опередил
И падал на землю стремглав,
Полет на облаке чертил.
И, отражен спокойным тазом,
Давал ума досугу разум.
Мечеть и храм несет низина
И видит скорбь в уделе нашем.
Красив и дик зов муэдзина
Зовет народы к новым кашам.

С булыжником там белена
На площади ясной дружила,
И башнями стройно стена
И город и холм окружила.
И туча стрел неслась не раз.
Невест восстанье было раз.

Чу! Слышен плач, и стан княжны
На руках гнется лиходея.
Соседи радостью полны,
И под водою блещет шея.
И помнит точно летописец
Сии труды на радость злобы.
И гибель многих вольных тысяч
И быстро скованные гробы.
Настала красная пора
В низовьях мчащегося Ра.

Война и меч, вы часто только мяч
Лаптою занятых морей,
И волжская воля, ты отрок удач,
Бросая на север мяч гнева полей.
„Нас переженят на немках, клянусь“.
Восток надел венок из зарев,
За честь свою восстала Русь,
И, тройку рек копьем удара,
Стоял соперник государя.
Заметим кратко: Ломоносов
Был послан морем Ледовитым,
Спасти рожден великороссов
Быть родом, разумом забытым.
Но что ж! Забыв его венок,
Кричим гурьбой: падам до ног.

И в звуках имени Хвалынского
Живет донине смерть Волынского.
И скорбь безглавых похорон
Таится в песне тех сторон.

Ты видишь степь: скрипит телега,
Песня лебедя слышна,
И живая смерть Олега
Вещей юности страшна.
С косою двойною бог скота,
Кого стада вскормили травы,
Стоит печально. Все тщета!
Куда ушли столетья славы?
Будь неподвижною севера ось,
Как остов небесного судна.
В бурю родились, плывем на-авось,
Смотрим загадочно, грозно и чудно.
И светел нам лик в небе брошенных писем,
Любим мы ужас, вой смерча и грех.
Как знамя мы молодость в бурю возвысим,
Рукой огневою начертим мы смех.

Ах, мусульмане, те же русские
И русским может быть Ислам.
Милы глаза, немного узкие,
Как чуть открытый ставень рам.
Что делать мне, мой грешный рот?
Уж вы не те, уж я не тот!
Казак сдувал с меча пылинку,
На лезвие меча дыша,
И на убогую былинку
Молилась Индии душа.

Когда осаждался тот город рекой,
Он с нею боролся мешками с мукой.
Запятав в брови взоры синие,
Исполнен спеси и уныния,
Верблюды угрюмы, неразговорчивы,
Стоит, надсмешкой губы скорчив.
И, как пустые рукавицы,
Хохлы горба его свисают,
С деньгой серебряной девица
Его за повод потрясает.

Как много просьб к друзьям встревоженным,
В глазах торгующих мороженым!
Прекрасен в рубищах их вырез,
Но здесь когда-то был Озирис.
Тот город, он море стережет!
И впрямь он был моря столицей.
На Ассирию башен намеки,
Околицы с сельской станицей.
И к белым и ясным ночным облакам
Высокий и белый возносится храм,
С качнувшейся чуть колокольней.
Он звал быть земное довольней.
В стволах садов, где зреет лох,
Слова любви скрывает мох.

Над одинокою гусяной
Широкий парус, трепещая,
Наполнен свежей моряной,
Везет груз воблы и леща.
Водой тот город окружен
И в нем имеют общих жен.

ВИЛА И ЛЕШИЙ

М И Р

Горбатый леший и младая
Сидят о мелочах болтая.
Она, дразня, пьет сок березы,
А у овцы же блещут слезы.
Ручей, играя пеной, пел
И в чащу голубь полетел.
Здесь только стадо пронеслось
Свистящих шумно диких уток,
И ветвью рог качает лось,
Печален, сумрачен и чуток.
Исчез и труд, исчезло дело;
Пчела рабочая гудела.
И на земле и в вышине
Творилась слава тишине.

Овца задумчиво вздыхает
И комара не замечает.
Комар как мак побагровел
И звонко, с песней, улетел.
Качая черной паутиной
На землю падающих кос,
Качала Вила хворостиной
От мошек, мушек и стрекоз.
Лег дикий посох мимо ног;
На ней от воздуха одежда;
Листов березовых венки
Ее опора и надежда.

„Ах, юность, юность, ты что дым!
Беда быть тучным и седым!“
Уж леший капли пота льет
С счастливой круглой головы.
Она рассеянно плетет
Венки синеющей травы.
„Тысячелетние громады—
Морщиной частою измучены.
Ты вынул меня из прохлады
И крылышки сетью закручены.
Леший добрый, слышишь, что там?
Натиск чей к чужим высотам?
Там, на речке, за болотом?“—
Кругом теснилась мелюзга,
Горя мерцанием двух крыл,
И ветер вечером закрыл
Долину, зори и луга.

„Хоть сколько-нибудь нравится
Тебе моя коса?“
„Конечно, ты красавица,
То помнят небеса.
Ты приютила голубков,
Косою черная с боков!“
А над головой ее летал,
Кружился, реял, трепетал
Поток синеющих стрекоз.
Где нет ее, там есть мороз.
Младую Вилу окружал
И ей в сияньи услужал.
Вокруг кудрявы дресеса,
Сини, могучи небеса.

Младенец с пышною косою
Стоял в дубраве золотой,
Живую жизнь созерцал
И сердцу милым нарицал.

„Спи, голубчик, спи, малюта,
В роще мира и уюта!“
Рукой за рог шевелит нежно,
Так повторив урок прилежно.
На небо смотрит. Невзначай
На щеку каплет молочай.
Рукою треплет белый чуб,
Его священную чуприну.
„Чуть-чуть ты стар, немного глуп,
Но все же брат лугам и крину“.
Но от темени до пят
Висит воздушная ограда:
Синий лен сплести хотят
Стрекоз реющее стадо.
„Много-много мухоморов
Есть в дубраве золотой,
Но нет люда быстрых взоров,
Только сумрак золотой.
Где гордый смех и где права?
Давно у всех душа сова?“.
На мху и хвое леший дремлет;
Главу рукой, урча, объемлет.
Как мотылек восток порхал
И листья дуба колыхал.

Военный проходит
С орлом на погоне,

И взоров не сводит

Природа в загоне.

Она встает, она идет,

Где речки слышен зов — туда,

Где мышь по лону вод плывет

И где задумчива вода.

Г о л о с с р е к и: „Я белорукая,

Я белокожая,

Ручьям аукая,

На щук похожая,

О землю стукая,

Досуг тревожу я“.

— „Кто там бедная поет?

Злую волю кто кует?“

В тени лесов, тени прохладной

Стоял угрюмый и злорадный

Рыбак. Хохол волос упал со лба.

Вблизи у лоз его судьба.

Точно грешник виноватый,

Боязливый, вороватый,

Дикий, стройный,

Беспокойный,

Здесь рыбак пронес уду,

Верен вольному труду.

Неслась веселая вода.

Постой, разбойница, куда?

— „Где печали,

Где качели,

Где играли

Мы вдвоем.

Верещали
Из ущелий
Птицы. Бился водоем“.

„Козлоногих сторожей
Этой рощи, этих стад,
Без копья и без ножей
Распря видеть умный рад“.
„Пусть поднимают черти руку,
Возглашая, что довольно!
Веселясь лбов крепких стуку,
Веселюсь и я невольно.
Страсть, ты первая посылка,
Чтоб челом сразиться пылко“.
Над лысой старостью глумится
Волшебная девица.
Хребтом прекрасная сидит,
Огнем воздушных глаз трепещет,
Поет, смеется и шалит,
Зарницей глаз прекрасных блещет
И сыплет сверху муравьев.
Они звончее соловьев
На ноги спящего поставят
И страшным гневом позабавят.
Как он дик и как он согнут,
Веткой длиною дрожа,
Как персты его не дрогнут,
Палкой длинной ворожа.
Как дик и свеж
Владыка мреж!
„Я в сеть серебряных ячеек,
Попавши сомом, завоплю,

В хвосте есть к рыбам перешеек,
Им оплеуху налеплю!“

Рукой ловит комаров
И садит спящему на брови:
„Ты весел, нежен и здоров,
Тебе не жалко капли крови.
Дубам столетним ты ровесник,
Но ты рогат, но ты кудесник“.
Подобно шелка черным сетям,
С чела спускалася коса,
В нее, летя к голодным детям,
Попалась желтая оса.
„Осы боюсь!“ Осу поймала:
Та изогнула стан дугой,
И в ухо беса, что дремало,
Вонзился хвост осы тугой.
Ручную садит пчелку
В его седую холку.
Он покраснел, чуть-чуть рассержен,
И покраснел заметно он,
Но промолчал: он был воздержен
И не захотел нарушить сон.
„Как ты осклиз, как ты опух,
Но все же витязь верный, рьяный.
Капуста заячья, лопух!
Козел всегда собою пьяный!“
Устало, взорами небесная,
Дышала трудно, но прелестная.

Сверчки свистели и трещали
И прелесть жизни обещали.

Досуг лукавством нежным тешит
И волос ногтем длинным чешет.
И на плечо ее прилег
Искавший отдых мотылек.
Но от головы до самых ног
Снует стрекозых крыл станок.
Там небеса стоят зеленые
Какой-то тайной утомленные.
„Но что?“ Ква, ква! Лягушка пела пасть ужа.
Уже бледна, вскочила Вила, вся дрожа.
И внемлет жалобному звуку,
Подъемля к небу свою руку.
Коса волной легла вдоль груди,
Где жило двое облаков,
Для восхищенных взоров судей,
Для взоров пылких знатоков!
О, этот бледный страха крик!
Подъемлет голову старик.
„Не все же видно лес да ели:
Мы, видно, крепко надоели.
Ты дюже скверная особа“.
(Им овладели гнев и злоба).
„Души упрямца нету вздорней!
Смотри, смотри! Смотри проворней!
Мы капли жизни бережем,
Она же съедена ужом“.
Там жаба тихо умирает
И ею уж овладевает.
Блестя, как рыбки из корзинки,
По щекам падали слезинки.
Он телом стар, но духом пылок,
Как самовар блестит затылок.

Он гол и наг: ветхи колосья
Мехов упавших на бедро,
Склонились серые волосья
На лоб и древнее чело.
Его власы из снега льны,
Хоть мышцы серы и сильны.
„Мой товарищ желтоокий!
Посмотри на мир широкий!
Ты весной струей из скважин
Жадно пьешь березы сок,
Ты и дерзок и отважен
Телом спрятан у осок.
И грозя согнутым рогом,
Сладко гредишь о немногом“.
Исполнен неясных, овечьих огней
Он зенками синими водит по ней.
И просит грустящий, глазами скользя;
Но Вила промолвила тихо: „нельзя!“
И машет строго головой.
Тот, вновь простерт, стал чуть живой.
Рога в сырой мох погрузил
И плача звуком мир пронзил.
Вблизи цветка качалась чашка;
С червем во рту сидела пташка:
Жужжал угрозой синий шмель,
Летя за взяткой в дикий хмель.
Осока наклонила ось,
Стоял за ней горбатый лось.
Кричал мураш внутри росянки,
И несся свист золотой овсянки.
Ручей про море звонко пел,
А леший снова захрапел.

В меха овечьи сел слепень,
Забывши свой сосновый пень.
Мозоль косматую копытца
Скрывала травка-медуница.
И вечер шел. Но что ж: из пара
Встает таинственная пара.
Воздушный аист грудью снежной,
Костяк вершины был лишен.
И, помогая выйти нежно,
Достоин жалости, смешон.
Он шею белую вперил
На небо, тучами покрыто,
И дверь могилы отворил
Своей невесте того быта.
Лучами солнце не пекло;
Они стоят на мокрых плитах.
И что же? Светское стекло
Стояло в черепе на нитях.
Но скоро их уносит мгла,
Земная кружится игла.
Но долго чьи-то черепа
Стучали в мраке, как цеха.

А Вила знак сухой сломила,
С краев проворно заострила,
И в нос косматому ввела
И кротко взоры подняла.
Рукой по косам провела,
О чем-то слезы пролила
И, сев на пень взамену стула,
Она заплакала, всхлипнула.
И вдруг (о, радость) слышит: чих!

То старый бешено чихнул,
Изгнать соломинку вздрогнул:
„Мне гнев ужасен лешачих.
Они сейчас меня застанут,
Завоют, схватят и рванут,
И все мечты о лучшем канут,
И речи тихие уснут.
Покрыты волосом до пят
Все вместе сразу завопят.
Начнут кусаться и царапать
И снимут с кожи белый лапоть.
Союз друзей враждой не понят,
На всех глаголах ссор зазвонят
И хворостиною погонят
Иль на веревке поведут.
Мне чья-то поступь уж слышна.
Ах, жизнь сурова и страшна!“
— „Смотри, сейчас сюда нагрянут,
Пощечин звонких нададут.
Грызня начнется и возня;
Иди, иди же, размазня!“

Себя обвив концом веревки,
Меж тем брюшко сребристо лысое
Ему давало сходство с крысою,
Ушел, кряхтя, в места ночевки.
Печально в чаще исчезал,
Куда идти, он сам не знал.
Он в чашу плешину засунул
И оглянувшись звонко плюнул:
„Га! Еще побьют“.
„Достоин жалости бедняга!

Пускай он туп,
Пускай он скряга!
Мне надо много денег“.
— „А розог веник?“
— „Ожерелье в сорок тысяч
Я хочу себе достать!“
— „Лучше высечь...
Лучше больше не мечтать“.
— „И медведя на цепочке...
Я мукой посыплю щечки:
Будут взоры удлинненными,
Очи больше современными.
Я достану котелок
На кудрей моих венки.
Рот покрасив медведжетом;
Я поссорюсь с целым светом.
И дикарскую стрелу
Я на щечке начерчу.
Вызывая рев и гнев,
Стану жить я точно лев:
Сяду я, услыша ропот;
И раздастся общий шопот“.
— „То-то; на той сушине растет розга“.
— „Иди, иди; ни капли мозга!“
— „Иду, иду в мое болото.
Трава сыра“.— „Давно пора!“
Досады полная в конец,
Куда ушел тот сорванец?
Бросала колкие надсмешки,
Сухие листья, сыроежки,
Грибы съедобные и ветки
И ядовитые заметки.

Летела нитка снежных четок
Вслед табунку лесных чечеток.
С сосновой шишкой, дар зайчишки,
Сухая крышка мухомора
Летит, как довод разговора.
Слоны, улитки, слизняки
И веткой длинной сквозняки,
А с ними вместе города
Летят на воздух все туда.
Она все делалась сердитей
И говорила: „погодите“.
„О ты, прижимающий ухо косое,
Мой заяц, ответь мне, какого ты соя?“
Как расшалившийся ребенок
Покинут нянькой нерадивой,
Бесился в ней бесенок,
Покрытый пламенною гривой.
К ручейной влаге наклонясь,
Себя спросила звонко „ась?“
И личиком печальным чванится
Стран лицемерия изгнанница.

Она пошла, она запела
Грозно, воинственно, звонко,
И над головою пролетела
В огне небес сизоворонка.
Кругом озера и приволье,
С корой березовой дреколье,
Поля, пространство и леса
И голубые небеса.
Вела узорная тропа,
На частоколе черепа,

И рядом низкая лачуга,
Приют злодеев и досуга.
Овчарка встала, заворчав.
Косматый сторож величав.
Звонков задумчивых бренчанье,
Овчарки сонное ворчанье.
Повсюду дятлы и синицы
И белоструйные криницы.
„Слышу запах человечесий?
Где он, дикий? Меха овечий?“
Вид прекрасный, вид пригожий,
Шея белая легка.
Рядом с нею, у подножий,
Два трепещут мотылька.
И много слов их ждет прошептанных
И много троп ведет протоптанных.

СЕЛЬСКАЯ ДРУЖБА

Как те виденья тихих вод,
Что исчезают, лишь я брызну,
Как голос чей-то в бедствий год:
„Пастушка, встань, спаси отчизну“.
Вид спора молний с жизнью мушки
Сокрыт в твоих красивых взорах,
И перед дланию пастушки,
Ворча, реветь умолкнут пушки
И ляжет смирно копий ворох.
Так в пряже таинственной с счастьем и бедами,
Прекрасны, смелы и неведомы,
Юношей двое явились однажды,
С смелыми лицами, взорами жажды.
На утро пришли они, мокрые, в росах,
В руке был у каждого липовый посох.
То вестники блага — подумал бы каждый.
Смелы, зорки, расторопны,
В русые кудрей покрытые копны,
К труду привычны и охотники,
Они просились в работники.
Какой-то пришли они тайной томя,
Волнуемы подвигом общим,—
На этих приход мы не ропщем.
Так голубь порою крылами двумя
В время вечернее мчится и серое.
И каждый взглянул на них, сразу им веруя.
Но голубь летит все ж единый.
Пришли они к нам урожая годиной.

Сюда их тропа привела,
Два шумных и легких крыла.

С того напрасно снят, казалось, шлем:
Покрыт хвостом на медной скрепе,
Он был бы лучше и свирепей.
Он русский стог на плечах нес
Для слабых просьб и тихих слез.
Другой же кроток, чист и нем:
Мечтатель был и ясли грез.
Как лих и дик был тот в забрале
И весел голос меж мечей!
Иные сны другого ум избрали,
Ему был спутником ручей,
И он умел в тиши часами
Дружить с ночными небесами,
Как строк земли иным созвучие,
Как одеянье сердцу лучшее.

Село их весело приемлет
И сельский круг их сказкам внемлет.
Твердят на все спокойно: да!
Не только наши города.
Они вошли в семью села.
Им сельский быт был дан судьбой.
И как два серые крыла:
Где был один, там был другой.
Друг с другом жизни их сплелись;
С иными как-то не сошлись.
И все приветствуют их.
Умолкли злые языки,
Хотя ворчали старики:
Тот слишком лих, тот слишком тих.

Они прослыли голубки
(К природе образы близки)
И парубки, хотя раней косились,
Но и те угомонились.

Не знаю, что тому виною —
Решенье жен совсем иное.
Они наверное правы.
Кто был пред ними наяву,
Осколком века Святослава
И грозных слов „иду на вы“,
Пред тем, склонив свою главу,
Проходит шумная орава.
Так дикий шорох чуть услышат
В ночном пасущиеся кони,
Прядут ушами, робко дышат:
Ведь все есть в сумрака законе.
Когда сей воин, отцов осколок,
Встречался, меряя проселок,
На ее быстрый взор спускали полог.
Перед другим же, подбоченясь,
Смелы, бойки, как новый пенязь,
Играя смело прибаутками
И смело радостными шутками,
Стояли весело толпой
На смех и дерзость не скупой.

Бранили отрока за то,
Что, портя облик молодой,
Спускался клочок волос седой
На мысли строгое чело,
Был сирота меж прядей черных.
Казнили стаяй слов задорных,

За то, что рано поседел,
Храня другой судьбы удел.
Что пустяки ему важны,
И что ему всегда немного нездоровится,
А руки слабы и нежны,—
Породы знак, гласит пословица.
Ходила бойкая молва,
Что несправедлив к нему закон
За тайну темную рождения.
И что другой судьбы права
На жизнь, счастье, наслаждение
Хранил в душе глубоко он.
Хоть отнял имя, дав позор,
Но был отец Ивана важен
Где-то. То, из каких-то жизни скважин,
Все разузнал болтливый взор.
Враждуя с правом и тоской
С своей усмешкой удальской,
Стаю молний озорницы
Бросали в чистые зарницы.
„Не я, не мы“ — кричали те
В безумца, верного мечте,
Весною красненький цветок,
Зимой холодный лед снежка
Порой оттуда, где платок,
Когда летал исподтишка.
Позднее с ними примирились
И называть их договорились:
Наш силач
(Пропащая головушка)
И наш скрипач
И нам соловушка.

Ведь был силен, чьи кудри были русы,
А тот на скрипке знал искусства.
Был сельский быт совсем особый.
В селе том жили хлеборобы.
В верстах двенадцати
Военный жил; ему покой давно был велем:
В местах семнадцати
Он был и ранен и прострелен,
То верной, то шальной пулей.
(Они летят, как пчелы в улей).
И каждый вечер, вод низами,
К горбунье с жгучими глазами
Сквозь луга и можжевельник
С громкой песней ходил мельник.
Идя тропой ивняка,
Свою он „песню песней“ пел,
Тогда село наверняка,
Смеясь, шептало:
„Свой труд окончить он успел“.
Копыто позже путь топтало.
Но осенью, когда пришли морозы,
Сверкнули прежние угрозы
В глазах сердитых стариков,
Как повесть жизни и грехов,
И раздавалось бранное слово.
Потом по-старому пошло все снова,
Только свадьбы стали чаще,
С хмелем ссоры и смятений.
Да порой в вечерней чаше
Замечали пляску теней.
Но что же?
Недолго длилось все и тоже,

Однажды рев в деревне раздался,
Он вырос, рос и на небо взвился.
Забилась сторожа доска!
В том крике смертная тоска.
Набат? Иль бешеные волки?
„Ружье подай мне! — Там на полке“.
Притвор и ствол поспешно выгнув,
В окошко сада быстро прыгнув,
Бегут на помощь не трусы.
Бог мой! От осаждающей толпы
Оглоблей кто-то отбивался.
В руках полена и цепи,
Но осажденный не сдавался.
За ним толпой односельчане,
Забыв свирели и заботы,
Труды, обычай и работы,
На мясе, квасе и кочане
Обеды скудные прервав,
Идут в защиту своих прав.
Излишни выстрел и заряд.
Слова умы не озарят.
На темный бой с красавцем пришлым
Бегут, размахивающим дышлом.
Тогда, кто был лишь грез священник,
Сбежал с крыльца семи ступенек.
Молва далеко рассказала
Об этом крике: „не боюсь!“.
Какая сила их связала,
Какое сердце и союз!
В его руке высокий шест
Полетом страшным засвистал,
И круг по небу начертал.

Он им по воздуху провел.
Он хищник в стае голубей.
Умолкли возгласы: „убей!“
И отступили люди мест,
И побежали люди сел.
„В тихом омуте — то чорт!“ —
Молвил тот, кто был простерт.

Наверно месяц пролежал
Борис, кругом покрытый льдом, —
Недуг кончиной угрожал.
Он постарел и поседел.
Иван, гордясь своим трудом,
Сестрою около сидел,
И в темный час по вечерам,
Скорбна, как-будто войдя в храм,
Справлялась не одна села красавица,
Когда Борис от ран поправится?
И он окрепнул наконец,
Но вышел слабый как чернец.
Меж тем и сельских людей гнев
Улегся, явно присмирив.

Борис однажды клятву дал
Реку Остер двенадцать раз,
Не отдыхая, переплыть,
Указ судьбы его не спас.
Он на седьмом погиб. Не плакал, не рыдал
Иван, но, похоронив, решил уйти.
Иных дней жребий темный вынул
И, незамеченный, покинул
Нас. Не знаю, где решил он жить?

Быть может, он успел забыть
Тот край, как мы его забыли,
Забвенью предали пути.
Но голубь их скитаний хром,
Отныне сломанным крылом
Дрожит и бьется узник пыли.
Так тяжело падает на землю
Свинцом пронзенный дикий гусь.
Но в их сердцах устало внемяю
Слова из книги общей: „Русь“.

П О Э М Ы 1 9 1 9 — 1 9 2 2

Как осень изменяет сад,
 Дает багрец, цвет синей меди,
 И самоцветный водопад
 Снегов предшествует победе,
 И жаром самой яркой грезы
 Стволы украшены березы,
 И с летней зеленью проститься
 Летит зимы глашатай — птица;
 Где тонкой шалью золотой
 Одет откос холмов крутой,
 И только призрачны и наги
 Равнины белые овраги,
 Да голубая тишина
 Просила слова вещуна, —
 Так праздник масляницы вечный,
 Души отрадою беспечной
 Хоронит день недолговечный,
 Хоронит солнца низкий путь,
 Зимы бросает на-земь ткани
 И, чтобы время обмануть,
 Бежит туда быстрее лани.
 Когда над самой головой
 Восходит призрак золотой
 И в полдень тень лежит у ног,
 Как очарованный зверок, —
 Тогда людские рощи босы
 Ткут пляски сердцем умиленных
 И лица лип сплетают косы
 Листов зеленых.

Род человечества, игрою легкою
дурачась ты,
В себе самом меняя виды,
Зимы холодной смоешь начисто
Пустые краски и обиды.

Иди, весна! Зима, долой!
Греми весеннее трубой!
И человек иной чем прежде
В своей изменчивой одежде,
Одетый облаком и наг,
Цветами отмечая шаг,
Летишь в заоблачную тишь,
С весною быстрою сам-друг,
Прославив солнца летний круг.
Широким неводом цветов
Весна рыбачкою одета,
И этот холод современный
Ее серебряных растений,
И этот ветер вдохновенный
Из полуслов и полупения,
И узел ткани у колен,
Где кольца чистых сновидений.
Вспорхни, сосед, и будь готов
Нести за ней охапки света
И цепи дыма и цветов.
И своего я потоки,
Моря свежего взволнованней
Ты размечешь на востоке
И посмотришь очарованней
Сини воздуха затеи.
Сны кружились точно змеи.

Озаренная цветами,
Вдохновенная устами,
Так весна встает от сна.

Все, кто предан был наживе,
Счету дней, торговле отданных,
Счету денег и труда, —
Все сошлись в одном порыве
Любви к Деве верноподанных,
Веры в праздник навсегда.
Крик шута и вопли жен,
Погремушек бой и звон,
Мешки белые паяца,
Умных толп священный гнев —
Восклищали: Дева Цаца!
Восклищали нараспев,
В бурных песнях опьянев.

Двумя занятая лавка,
Темный тополь у скамейки.
Шалуний смех, нечаянная давка,
Проказой пролитая лейка.
В наряде праздничном цыган,
Едва рукой касаясь струн,
Ведет веселых босоножек.
Шалун,
Черноволосый, черномазый мальчуган,
Бьет тыквою пустой прохожих.
Глаза и рот ей сделал ножик.
Она стучит, она трещит,
Она копье и ловкий щит.

Потоком пляски пробежали
В прозрачных одеяньях жены.
— Подруги, верно ли? Едва ли,
Что рядом пойман леший сонный?
— Подруги, как мог он в веселия час
Заснуть, от сестер отлучась?
— Прости, дружок, ну добрый путь,
Какой кисляй, какая жуть! —
И он, наказанный щипками,
Бежит неловкими прыжками.
И скрыться от сестер стремится
Медведь и вдруг, свободнее чем птица,
Долой от злых шалуний мчится.

Волшебно-праздничною рожей,
Губами красными сверкнув,
Толпу пугает чернокожий,
Копье рогожей обернув.
За ним с обманчивой свободой
Рука воздушных продавщиц,
Темнея солнечной погодой,
Корзину держит овощей.
Повсюду праздничные лица
И песни смуглых скрипачей.
Среди недолгой тишины
Игра цветами белены.
Подведены, набелены
Скакали дети небылицы.
Плясали черти очарованно,
Как призрак призраком прикованный.
Как будто кто-то ими грезит,
Как будто видит их во сне,

Как будто гость замирный лезет
В окно красавице весне.

Слава смеху! Смерть заботе!
Из знамен и из полотен,
Что качались впереди,
Смех красиво беззаботен,
С осьминогом на груди,
Выбегает смел и рьян —
Жрец проделок и буян.
Пасть кита несут, как двери
Отворив уста широко:
Два отшельника-пророка
В глуби спрятаны, как звери,
Спорят об умершей вере.
Снег за снегом
Все летит к вере в прелести и негам.
Вопит задумчиво волынка,
Кричит старик кукареку,
И за снежинкою снежинка
Сухого снега разноцветного
Садилась вьюга на толпу.
Среди веселья беззаветного,
Одетый бурной шкурой волка,
Проходит воин: медь и щит.
Жаровней-шляпой богомолка
Старушка набожных смешит.

Какие синие глаза!
Сошли ли на-земь образа!
Дыханьем вечности волнуя,
Идут сквозь праздник поцелуя?

Священной живописью храма,
Чтобы закрыл глаза безбожник,
Иль дева нежная Ислама,
[Чтоб] в руки кисти взял художник?
„Скажи, соседка, — мой Создатель!
Кто та живая богоматерь?“
„Ее очами теньвыми
Был покорен страстей язык,
Ее шептать святое имя
Род человеческий привык“. —
Бела, белее изваяния,
Струя молитвенный покой
Она, божественной рукой,
Идет, приемля подаянье.
И что ж! И что ж! Какой злодей
Ей дал вожатого шута!
Она стыдится глаз людей,
Ее занятие — нищета!
Но нищенки нездешний лик
Как небо синее велик.
Казалось, из белого камня изваян
Поток ее белого платья,
О, нищенка дальних окраин,
Забывшая храм богоматерь!
Испуг. Молчат...
И белым светом залита
Перед видением толпа детей, толпа дивчат.

Но вот веселие окрепло.
Ветер стона, хохот пепла,
С диким ревом краснокожие
Пробежали без оглядки,

За личинами прохожие
Скачут в пляске и присядке.
И за ней толпа кривляк,
С писком плача, гик шутов,
Вой кошачий, бой котов,
Пролетевшие по улице,
Хохот ведьмы и скотов,
Человек-верблюд сутулится,
Говор рыбы, очи сов,
Сажа плачущих усов,
На телеге красный рак,
С расписными волосами
В харе святочной дурак
Бьет жестянкою в боченок,
Тащит за руку девчонок.
Мокрой сажы непогода,
Смоляных пламен костры,
Близорукие очки текут копотью по лицам,
По кудрявых влас столицам,
И в ночной огнистой чаре,
В общей тяге к небылицам,
Дико блещущие хари,
Лица цвета кумача
Отразились как свеча
Среди тысячи зеркал,
Где огонь как смерть плескал.
Смеху время! Звездам час!
Восклицали, ветром мчась.
И копыта упорных снежинок,
Упавших на пол мостовой.
Скамья. Голо выбритый инок
Вдвоем с черноокой женой.

Как голубого богомольцы,
Качались длинных кудрей кольца,
И полночь красным углем жег
В ее прическе лепесток.
И что ж! Глаза упорно синие
Горели радостью уныния
И, томной роскоши полны,
Ведут в загадочные сны.
Но, полна метели, свободы от тела,
Как очи другого, не этого лика,
Толпа бесновалась, куда-то летела,
То бела как призрак, то смугла и дика.
И около мертвых богов,
Чьи умерли рано пророки,
Где запады с ними востоки,
Сплетался усталый ветер шагов,
Забывший дневные уроки.
И их ожерельем задумчиво мучая
Свой давно уж измученный ум,
Стоял у стены вечный узник созвучия
В раздоре с весельем и жертвенник дум.
Смотрите, какую горой темноты,
Холмами, рекою, речным водопадом
Плащ, на землю складками падая,
Затмил голубые цветы,
В петлицу продетые Ладою.
И бровь его на сон похожая,
На дикой ласточки полет.
И будто судорогой безбожия
Его закутан гордый рот.
С высокого темени
Волосы падали,

Оленей сбесившимся стадом,
Что в небе, завидев врага,
Сбегают, закинув рога,
Волнуясь, беснуясь морскими волнами,
Рогами друг друга тесня,
Как каменной липой на темени,
И черной доверчивой мордой
Все дрожат, дорожа и пылинкою времени,
Бросают сердца жожаку
И грудой бегут к леднику;
И волосы бросились вниз по плечам,
Оленей сбесившихся стадом,
По пропастям и водопадам.
Ночным табуном сумасшедших оленей,
С веселием страха, быстрее чем птаха!
Таким он стоял сумасшедший и гордый
Певец (голубой темноты строгий кут,
Морскою волною обвил его шею измятый лоскут).
И только алмаз Кизил-Э
Зажег красноватой воды,
Звездой очарованной, к булавке прикованной,
Плаща голубые труды,
Девичьей душой застрахованной.

О, девушка, рада ли,
Что волосы падали
Рекой сумасшедших оленей,
Толпою в крутую и снежную пропасть,
Где белый белел воротничок.
В час великий, в час вечерний
Ты, забыв обет дочерний,
Причесала эти волосы,

Крылья дикого орлана,
Наклонясь как жемчуг колоса,
С голубой душою панна.
И как ветер делит волны,
Свежей бури песнью полный,
Первой чайки криком пьяный,
Так скользил конец гребенки
На других миров ребенке,
Чьи усы темнеют нивой
Пашни умной и ленивой.
И теперь он не спал, не грезил и не жил,
Но, багровым лучем озаренный,
Узор стен из камней голубых
Черными кудрями нежил.

Он руки на груди сложил,
Прижатый к груде камней призрак,
Из жизни он бежал, каким-то светом привлеченный,
Какой-то грезой удивленный,
И тело ждало у стены
Его души шагов с вершин,
Его обещанного спуска,
Как глина полная воды,
Но без цветов пустой кувшин,
Без запаха и чувства.

У ног его рыдала русалка. Она,
Неясным желаньем полна,
Оставила шум колеса
И пришла к нему, слыхала чьи
Песни вечера не раз.
Души нежные русалочки
Покорял вечерний час.

И забыв про ночные леса,
И мельника с чортом божбу,
И мельника небу присягу,
Глухую его ворожбу,
И игор подводных отвагу.
Когда рассказом звездным вышит
Пруда ночного черный шелк,
И кто-то тайну мира слышит,
Из мира слов на небо вышед,
С ночного неба землю видит
И ждет к себе что кто-то выйдет,
Что нежный умер и умолк.
Когда на камнях волос чешет
Русалочий прозрачный пол
И прячется в деревьях липы,
Конь всадника вечернего опешит,
И только гулкий голос выпи
Мычит на мельнице как вол.
Утехой тайной сердце тешит
Усталой мельницы глагол.
И все порука от порока,
Лишь в омуте блеснет морока
И сновидением обмана
Из волн речных выходит панна
И горделива и проста
Откроет дивные уста.
Поет про очи синие, исполненные прелести,
Что за паутиной лучей,
И про обманчивый ручей,
Сокрыт в неясном шелесте.
Тогда хотели звезды жгучие
Соединить в одно созвучие

И смуглую веру воды,
Веселые брызги русалок,
И мельницы ветхой туды,
И дерево полное галок,
И девы ночные виды.
И вот одинока, горда
Отправилась ты в города.
При месяце белом
Синеющим телом
Пугает людей. Стучится в ворота
И входит к нему.
В душе у девы что-то
Неясное уму.
Но сердце вещее не трогали
Ночные барышни и щеголи,
Всегда их улицы полны
И густо ходят табуны.
Русалка месяца лучами
Невеста в день венца.
Молчанья полными глазами,
Краснея, смотрит на певца,
Глаза ночей. Они зовут и улетают
Туда, в отчизну лебедей,
И одуванчиком сияют
В кругах измученных бровей,
И нежно, нежно умоляют.
„Как часто мой красивый разум.
На мельницу седую приходя,
Ты истязал своим рассказом
О празднике научного огня.
Ведь месяцы сошли с небес,
Запутав очи в черный лес,

И обученные людскому бегу
Там водят молнии телегу
И толпами возят людей
На смену покорных коней.
На белую муку
Размолот старый мир
Работою рассудка
И старый мир — он умер на-скаку!
И над покойником синеее незабудка,
Реки чистоглазая дочь.
Над древним миром уже ночь!
Ты истязал меня рассказом,
Что с ним и я, русалка, умерла
И не река девичьим глазом
Увидит времени орла.
Отец искусного мучения
Ты был жесток в ночной тиши,
Несу венок твоему пенью,
В толпу поклонниц запиши!“
Молчит. Руками обнимая,
Хватает угол у плаща
И, отшатнувшись и немая,
Вдруг смотрит молча, трепеща.
„Отец убийц! Отец убийц — палач жестокий?
А я, по-твоему, в гробу?
И раки кушают меня,
Клешнею черной обнимая?
Зачем чертой ночной мороки,
Порывы первые ломая,
Ты написал мою судьбу?
Как хочешь, назови меня:
Собранием лучей,

Что катятся в окно,
Ручей-печаль, чей бег небесен,
Иль нет из да — в долине песен,
Иль разум вод — сквозь разум чисел,
Где синий реет коромысел.
Из небытия людей в волне
Ты вынул ум, а не возвысил
За смертью дремлющее „но“.
Или игрой ночных очей
[Всегда жестоких и коварных]
На лоне ночи светозарных,
И омутом, где всадник пьет,
Иль месяца лучом,
Что вырвался из скважин,
Иль мне не быть сказкой суждено?
Но пощади меня! Отважен
Переверни концом копьё!“

Тогда рукою вдохновенной
На богоматерь указал:
„Вы сестры. В этом нет сомнений.
Идите вместе“. — Он сказал:
„Обеим вам на нашем свете
Среди людей не знаю места
(Невеста вод и звезд невеста).
Но, взявшись за руки, идите
Речной волной бежать сквозь сети,
Или нести созвездий нити
В глубинах темного собора
Широкой росписью стены,
Или жилищами волны
Скитаться вы обречены,

Быть божествами наяву
И в белом храме и хлеву,
Жить нищими в тени забора,
Быть в рубище чужом и грязном,
Волною плыть к земным соблазнам
И быть столицей насекомых,
Блестя в божественные очи,
Спать на земле и на соломах,
Когда рука блистает ночи.
В саду берез, в долине вздохов,
Иль в хате слез и странных охов —
Поймите, вы везде изгнанницы,
Вам участь горькая останется:
Везде слышать: „позвольте кланяться“.

По белокаменным ступеням
Он в сад сошел и встал под Водолеем.
„Клянемся, клятве не изменим“, —
Сказал он, руку подымая,
Сорвал цветок и дал обеим:
„Сколько тесных дней в году,
Стольких воль повторным словом
Я изгнанниц поведу
По путям судьбы суровым“.
И призраком ночной семьи
Застыли трое у скамьи.

Как воды полночных озер
За темными ветками ивы,
Блестели глаза у сестер,
А все они были красивы.
Одна, зачарована богом
Старинных людских образов,
Стояла под звездным чертогом
И слушала полночи зов.
А та замолчала навеки,
Душой простодушнее дурочки,
Боролися черные веки
С глазами усталой снегурочки.
А та — золотистые глины
Любила весною у тела,
На сене, на стоге овина
Лежать — ее вечное дело.
Внезапный язык из окошка на птичнике
Прохожего дразнит цыгана,
То, полная песен язычника,
Стоит на вершине кургана.
И, полная неба и лени,
Жует голубые цветы,
И в мертвом засохнувшем сене
Плывет в голубые пути.
Порой, быть одетой устав,
Оденет ночную волну,
Позволит ветров табу
Ласкать ее стана устав.

И около тела нагого
Холодная пела волна
Давно позабытое слово
Из мира далекого сна.

Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира
И сказка великая пела, —
Глаза человека — секира.
И в сказку вечернего неба
Летели девичьи глаза,
И волосы темного хлеба
Волнуются, льются назад.
Умчались девичьи земли
В молитвенник дальнего неба
И волосы черного хлеба
Волнуются, полночи внемя.
Она точно смуглый зверок,
И смуглые блещут глазенки;
Небес синева, точно слабый урок
Блеснет на зарницах теленка.
Те волосы золота темного мед,
Те волосы черного хлеба поток,
То черная бабочка небо сосет
И хоботом узким пьет синий цветок.

Поверили звезд водоему
Ее молодые лета,
Темнеет сестрой чернозему
Любимая сном нагота.
И кротость и жалость к себе,
В ее разметавшихся кудрях,

И небо горит голубей
В колосьях священных и мудрых.
И неба священный подсолнух,
То золотом черным, то синим отливом
Блеснет по разметанным волнам,
Проходит как ветер по нивам.
Идет как священник и темной рукой
Дает темным волнам и сон и покой,
Иль может быть Пушкин иль Ленский
По ниве идет деревенской,
И слабая кашка запутает ноги
Случайному путнику сельской дороги.
Глазами зеваки иль может быть боги
Пришли красивыми очами
Все на земле благословить.

Другая окутана сказкой
Умерших недавно событий,
К ней тянутся часто за лаской
Другого дыхания нити.
Она величаво, как мать,
Проходит по зарослям вишни
И любит глаза подымать,
Где звезды раскинул всевышний.
Дрожали лучи поговоркою
И время столетиями цедится,
Ты смотришь, задумчиво зоркая,
Как слабо шагает Медведица.
Платка белоснежный ковер,
Одежда бела и чиста,
Как пена далеких озер.
Ее колыхались уста

И дышит старинная вольница,
Ушкуйницы гордая стать.
О, строгая ликом раскольница,
Поморов отшельница-мать.

Лоск ласк и хитрости привычной сети
Чертили тучное лицо у третьей,
Измены изменной она
Была живые письма.
И темные тела дары,
Как небо светлы и свободны;
На облако черной главы
Нисходит огонь благородный.
И голод голубого холода
Оставит женщину и глину.
И вновь таинственно и молодо
Молилась глина властелину.

И полумать и полудитя
И с мглой языческой дружа,
Она уходит в лес, хотя
Зовет назад ее межа.
Стонавших радостно черемух
Зовет бушующий костер.
Там в стороне от глаз знакомых
Находишь, дикая, шатер.
Сквозь белые деревья очи
Ты скачешь товаркою ночи,
И в черной шубе медвеженок
Своих на тело падших кос, —
Ты, разбросавший волосы ребенок,
Забыв про яд жестоких ос,
Но помнишь прелести стрекоз.

И ловишь шмелей медвежат,
Хоть дерева ветки дрожат,
И пьешь цветы медовой пыли,
И лазаешь поспешней белки,—
Тогда весна сидит сиделкой
У первых дней зеленой силы.
И, точно хохот обезьяны,
Взлетели косы выше плеч,
И ветров синие цыгане
Ведут взволнованную речь.

Она весна или сестра,
В ней кровь весенняя течет,
И жар весеннего костра
В ее дыхании печет.
Она пчелиным божеством
На службу 1000 шмелей
Идет, хоть трудно меж ветвей
Служить молитву божеством.

ЛЕСНАЯ ТОСКА

В и л а: Пали вои полевые
На речную тишину,
Полевая в поле вою,
Полевую пою волю,
Умоляю и молю так
Волшебство ночной поры,
Мышек ласковых малюток,
Рощи вещице миры:
Позови меня, лесную,
Над водой тебе блесну я,
Из травы сниму копытце,
Зажгу в косах небеса я
И могучая, босая
Побегу к реке купаться.

Л е ш а к: Твои губы — брови тетерева,
Твои косы — полночь падает,
О тебе все лето реву,
Но ничто, ничто не радует.
Светлых рыбок вместо денег
Ты возьмешь с речного дна,
В острых зубках, как вареник,
Вдруг исчезнула одна:
Без сметаны она вкусна,
Хрупко бьется на зубах.

В е т е р: На стене сырой, где клятва,
Я слезами стены вымою;

Где ручьями сырость капает,
Над призраком из сырости,
Словам любви, любимая, —
Тогда уже ль не вырасти? —
Булавка нацарапает.

Русалка: Ты, это ветер, ты?
Верю, ветер любит не о чем,
Грустить неучем,
После петь путь,
Моих ветренных утренних пят,
Давать им лапти легких песен,
А песен опасен путь.
Мой мальчик шаловливый и мятежный,
Твои таинственные нити
Люблю ловить рукою нежной,
Ковры обманчивых событий.
Что скажешь ты?

Ветер: На обрыве, где гвоздика,
Возле лодки, возле весел,
Озорной, босой и весел,
Где косматому холопу
Стражу вверила халупа, —
Парень неводом частым отрезал,
Вырезав жезел,
Русалке-беглянке пути.
Как билась русалка, страдая!
Сутки бьется она в сетке,
Где течения излом,
Вместе с славкой ястребиной,
Желтоокой и рябой.

Рыбак,—он силой чар ужасных
Богиню в невод изловил
И на руках ее прекрасных
Веревки грубой узлы вил.

Вила: Беру в свидетели потомство
И отдаленную звезду,
С злодеем порвано знакомство,
На помощь девушке бегу.

Ветер: Что же, волосы развеяв,
По дороге чародеев
Побеги меж темных елей.
Ах, Вила, Вила!
Ты простодушьем удивила
Меня, присяжного лгуна.
Не думал я, что сразу
Поверишь ты рассказу.
Разве есть тебя резвей
В сердце простодушном,
Каждой выдумке послушной?

Русалка: Зачем ты обманул?

Ветер: А без проказ совсем уснул,
И злые шалости моя свобода.

Старик: Как черный ветер колыхается
Из красных углей ожерелье.
Она поет и усмехается,
Костер ночной ее веселье.

Она поет, идет и грезит,
Стан мошек волосом разит.
Как луч по хвойным веткам лезет
И тихо к месяцу скользит.
То в сумраке себя ночном купает,
То в облаке ночном исчезла,
То молчаливо выступает
В дыму малинового жезла.
Она то молнией ногой
Блеснет одна в дуброве черной,
То белодымною ногой
Творит обряд упорный.

Русалка: Всюду тени те,
Меня тяните!
Только помните —
Здесь пути не те,
Здесь потонете!
Жмурился вечер,
Жмуря большие глаза,
Спрячась в озерах во сне голубых.
Тогда я держала в руках голубей,
Сидя на ветке шершавой и старой,
И опрокинутой глыбой
Косы веселий
Висели.
В осине осенней
То было.

Час досады, час досуга,
Час видений и ведуний,
Час пустыни, час пестуний.

Чтоб пышней, длинней и далее
Золотые косы дали ей.
Виноваты вы не в этом,
Вы греховнытем, что нынче
Обещались птицы звонче.
Полотенцем моей грезы
Ветру вытру его слезы.
Ветер ветренный изменник:
Не венок ему, а веник.
Вы помните, страстничал вечер
Громадами томных
Расширенных глаз над озером.

Ветер: Там не та темнота.
Вы ломите мошек стада,
Вы ива своего стыда,
Где мошек толкутся стада.
Теперь, выходя из воды,
Вы ива из золота —
[Чаруетесь теми,
Они сосне
Восклицали: сосни.
Чураетесь теми,
Она во сне
Заклинала весну].
Явен овен темноты,
Я виновен, да, — но ты?
Вы ива у озера,
Чьи листья из золота.

Русалка: Лени друг и враг труда,
Ты поклялся, верю чуду,

Что умчимся в никогда
И за бедами забуду,
Что изменчив как вода.

Рыбаки: Вышел к сетям — мать Владычица!
Что-то в сетях тупо тычется.
Изловили ли сома,
Да таких здесь не видать!
Или спятил я с ума!
А глаза уж смотрят слабо.
Вышел парень:
— Водяная бьется, баба! —
И сюда со мной бегом,
Развязаться бы с грехом.

Ветер: Чары белые лелею,
Опрокинутые ивами.
Одоленом одолею
Непокорство шаловливое.
Голубой волны жилицы
Купайтесь по ночам!
Кудри сонные струятся
Крученым панычем.
Озаренные сияньем,
Блещут белым одеяньем
По реке холодной беженки,
На воде холодной неженки.
Я веселый, я за вами,
Чтоб столкнуть вас головами!

Русалка: Слышишь, ветер, слышишь ужас?
Ветра басня стала делом.

В диких сетях обнаружась,
Бьется вила нежным телом.
Режут листья, как мечи,
Кожу неги и услад.
Водяной бугай, мычи,
Жабы, вам забить в набат!
Пышных кос ее струя,
По хребту бежит змея,
И натянутые клетки —
Сот тугой и длинной сетки —
Режут до крови рубцы.
И на теле покрасневшем
Отпечатана до мяса
Сеть вторая на руках,
Точно тени на снегу
Наклоненных низко веток.
И запутанная в соты
Дичь прекрасная охоты
Уж в неволе больше часа
Раскраснелась и в слезах,
Слезы блещут на глазах.
Дрожат невода концы.
Холить брось свои усы,
Злой мальчишка и пророк.
Это злой игре урок.

Вила лесным одуванчиком
Спускалась ночью с сосны,
Басне поверив обманщика,
Пленница сеток, не зная вины.
Ну, берись, скорей за помощь,
Шевелись, речной камыш!

В е т е р: Цапля с рыбою в зобу
Полетела за плотину,
Ви́ла милая, забудь
Легкой козни паутину.
Я, в раскаяньи позднем,
Говорю прощайте козням.

В и л а: Удалого рыболова
Плеском влаги испугаю.
Чу, опять пронесся снова
Водяного рев бугая.
Сестры-подруги,
Зубом мышинным
Рвите тенета,
[Невод точите!]
Ветер, маши нам.
[Тише кричите],
После поймете!

Д е в ы: Ля! Ля! Ля!
Девушки, Ля!
Рвет невода
Белая жинка.
Всюду заминка,
Льется вода.
Спят тополя.
Синяя доля
Ранней зари.
Сказку глаголя,
Шли рыба́ри.
В руках уда,
Идут сюда.

У т р о: Поспешите, пастушата!
Ни видений ни ведуний,
Черный дым встает на хате,
Все спокойно и молчит.
На селе, в далекой клуне
Цеп молотит и стучит.
Скот мычит, пастух играет,
Солнце красное встает.
И как жар заря играет,
Вам свирели подает.

Семейство каменных пустынных
 Просторы поля сторожило.
 В окопе бывший пехотинец
 Ругался сам с собой: „Могила!
 Объявилась эта тетья,
 Завтра мертвых не сочтете,
 Всех задушит понемножку.
 Ну, сверну собачью ножку!“

Когда-нибудь Большой Медведицы
 Сойдет с полей ее пехота.
 Теперь лениво время цедится
 И даже думать неохота.
 „Что задумался, отец?
 Али больше не боец?
 Дай, затынем полковую,
 А затем — на боковую!“

Над мерным храпом табуна
 И звуки шорохов минуя,
 Международника могучая волна
 Степь объяла ночную;
 Здесь клялась небу навсегда.
 Рососою степь была напоена,
 И ало красная звезда
 Околыш украшала воина.
 „Кто был ничем,
 Тот будет всем“.

Кто победит в военном споре?
Недаром тот грозил углом
Московской брови всем довольным,
А этот рвался напролом
К московским колокольням.

Не два копья в руке морей,
Протянутых из севера и юга,
Они боролись: раб царей
И он, в ком труд увидел друга.
Он начертал в саду невест,
На стенах Красного Страстного:
„Ленивый да не ест.
Труд свят и зверолова“.

Молитве верных чернышей
Из храма ветхого изгнав,
Сюда войны учить устав
Созвал любимых латышей.
Но он суровою рукой
Держал железного пути.
Нет, я — не он, я — не такой!
Но человечество — лети!

Лицо Сибирского Востока,
Громадный лоб, измученный заботой,
И, испытывая вас, пронзающее око,
О хате жалится охотою.
— Она одна, стезя железная!
Долой беседа бесполезная.
Настанет срок — и за царем
И я уйду в страну теней.

Тогда беседе час. Умрем,
И все увидим, став умней.

Когда, врачами суеверий,
Мои послы во тьме пещеры
Вскрывали ножницами мощи
И подымали над толпой
Перчатку женскую, жилицу
Искусно сделанных мощей, —
Он умер, чудотворец тощий,
Но эта женская перчатка
Была расстрелом суеверий.
И пусть конина продается,
И пусть насмешливо смеется
С досок московских переулков
Кривая конская головка, —
Клянусь кониной, мне сдается,
Что я не мышь, а мышеловка.

Клянуся ею, ты свидетель,
Что будет сорванною с петель,
И поперек желанья бога,
Застава к алому чертогу,
Куда уж я поставил ногу.

Я так скажу: — пусть будет глупо
Оно глупцам и дуракам,
Но пусть земля покорней трупам
Моим доверится рукам.
И знамена, алей коня,
Когда с него содрали кожу,
Когтями старое казня,
Летите, на орлов похожи!

Я род людей сложу, как части
Давно задуманного целого.
Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти
У вымирающего белого!

Цветы нужны, чтоб скрасить гробы,
А гроб напомнит: мы — цветы...
Недолговечны, как они.

Когда ты просишь подымать
Поближе к небу звездочета,
Или когда, как божья мать,
Хоронишь сына от учета;
Когда кочевники прибыли,
Чтоб защищать твои знамена,
Или когда звездой гибели
Грядешь в народ одноплеменный, —
Москва, богиней воли подымая
Над миром светоч золотой,
Русалкой крови орошая
Багрянцем сломанный устой,
— Ты где права? Ты где жива?
Скрывают платья кружева.
Когда чернеющим глаголем
Ты встала у стены,
Когда сплошным Девичьим Полем
Повязка на рубце войны.

В багровых струях лицо монгольского Востока,
Славянскою волнуясь чертой,
Стоит могуче и жестоко,
Как образ новый, время, твой!

Проклятый бред! Молчат окопы,
А звезды блещут и горят...
Что будет завтра: — бой? — Наверяд.

Курган языческой Рогнеде
Хранил девические кости,
Качал ковыль седые ости.
И ты, чудовище из меди,
Одетое в железный панцырь.
На холмах алые кубанцы.
Подобное часам, на брюхе броневом
Оно ползло, топча живое!
Ползло, как ящер до потопа,
Вдоль нити красного окопа:
Деревья падали на слом,
Заставы для него пустое.
И такал звонкий пулемет,
Чугунный выставив живот.
Казалось,
Над муравейником окопа
Сидел на корточках медведь,
Неодолимый точно медь,
Громадной лапою тревожа
И право храбрых — смерти ложе —
И стоны слабых, боже, боже!

Опять брони блеснул хребет
И вновь пустыня точно встарь,
Но служит верный пулемет
Обедню смерти, как звонарь.

Друзьями верными несомая,
По степи конница летела.

Как гости, как старинные знакомые,
Входили копы в крикнувшее тело.

А конь скакал...

Как желт
Зубов оскал!

И долго медь с распятым Спасом
Цепочкой била мертвеца.
И как дубина: „бей по мордасам!“
Летит от белого конца.

Трепещет рана, вся в огне,
Путь пули—через богородиц.
На золотистом скакуне
Проехал полководец.
Его уносит иноходец.

За сторожевым военным валом
Таилась конница врагов:
„Журавль, журавушка, жур, жур, жур...“
Оттоль неслоь на утренней заре.

И доски каменные дур,
Тоска о кобзаре,
О строе колеса и палок,
Семействе сказочных русалок.

Но—чу? — „Два аршина керенок
Брошу черноглазой,
Нож засуну в черенок,
Поскачу я сразу.

То пожаром, то разбоем,
Мы шагаем по земле.
Черемуху воткнув в винтовку,
Целуем милую плутовку.
Мы себе могилу роём
В серебристом ковыле!“

Так чей-то голос пел.

Ворчал старик: „Им мало дедовской судьбы!
Ну что ж, заслужите, пожалуй, —
Отцы расскажут, — так бывало —
Себе сосновые гробы, —
А лучше бы садить бобы,
Иль новый сруб срубить избы,
Сажать капусту или рожь,
Чем эти копья или нож“.

Из Чартомлыцкого кургана,
Создавши в поле табуны,
Они летят, сыны обмана,
И с гривой волосы смешав,
И длинным древком потрясая,
Немилых пашками секут,
И вдруг — все в сторону бегут,
Старинным криком оглашая
Просторы бесконечных трав.

С звериным воем едет лава.
Одни вскочили на хребты
И стоя борются с врагом,
А те за конские хвосты
Рукой держались бегом.

Оставив ноги в стременах,
Лицом волочатся в траве,
И вдруг, чтоб удаль вспоминать,
Опять пануют на коне,
Иль ловят раненых на руки.
И волчьей стаи шорохи и звуки,
Как ветка старая сосны,
Гнездо суровое несет.
Так снег Москвы в огне весны
Морскою влагою умрет.

И если слезы в тебе льются,
В тебе, о старая Москва,
Они когда-нибудь проснутся
В далеком море, как волна.
Но море Черное, страдая,
К седой жемчужине Валдая
Упорно тянется к Москве.
И копыта длинные стучат
И голоса морей звучат.

Они звучат в колосьях ржи,
И в свисте отдаленной пули,
И в час, когда блеснут ножи.
Морские волны обманули,
Свой продолжая рев валов,
Седы, как чайка-рыболов,
Неузнаваемы никем,
Надели человечий шлем.
Из белокурых дикарей
И их толпы, всегда невинной,
Сквозит всегда вражда морей
И моря белые лавины.

Чтоб путник знал о старожиле,
Три девы степи сторожили,
Как жрицы радостной пустыни.
Но руки каменной богини,
Держали ног суровый камень,
Они зернистыми руками
К ногам суровым опускались
И плоско мертвыми глазами,
Былых таинственных свиданий,
Смотрели каменные бабы.
Смотрело
Каменное тело
На человеческое дело.

„Где тетива волос девичьих,
И гибкий лук в рост человека,
И стрелы длинные на перьях птичьих,
И девы бурные моего века?“ —
Спросили каменной богини
Едва шептавшие уста.
И черный змей, завит в кольцо,
Шипел неведомо кому.
Тупо животное лицо
Степной богини. Почему
Бойцов суровые ладони
Хватают мертвых за виски
И алоратные полки
Летят веселием погони?

— Скажи, суровый известняк,
На смену кто войне придет?
— Сыпняк!

И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.
Кто изнемог в старинных спорах
И чей застенок там на звездах,
Неси в руке гремучий порох—
Зови дворец взлететь на воздух.
И если в зареве пламен
Уж потонул клуб дыма сизого,
С рукой в крови взамен знамен,
Бросай судьбе перчатку вызова.
И если меток был костер
И взвился парус дыма синего,
Шагай в пылающий шатер,
Огонь за пазухою — вынь его.
[И где ночуют барыши,
В чехле стекла, где царский замок,
Приемы взрыва хороши
И даже козни умных самок.]
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
[О, девушка, души косою
Убийцу юности в часы свидания
За то, что девою босою
Ты у него молила подаяния.
Иди кошачею походкой
От нежной полночи чиста.

Больная, поцелуй чахоткой
Его в веселые уста.
И ежели в руке желез нет —
Иди к цепному псу,
Целуй его слюну,
Целуй врага, пока он не исчезнет.]

Холоп богатых, улю-лю,
Тебя дразнила нищета,
Ты полз, как нищий, к королю
И целовал его уста.
Высокой раною болея,
Снимая с зарева засов,
Хватай за ус созвездье Водолея,
Бей по плечу созвездье Псов!
И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.

Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,

И будет некому продать
Мешок от золота тугой.
Смерть смерти будет ведать сроки,
Когда вернется он опять,
Земли повторные пророки
Из всех письмен изгонят ять.

В день смерти зим и раннею весной
Нам руку подали венгерцы.
Свой замок цен, рабочий, строй
Из камней ударов сердца.
И, чокаясь с созвездьем Девы,
Он вспомнит умные напевы
И голос древних силачей,
И выйдет к говору мечей.
И будет липа посылать
Своих послов в совет верховный
И будет некому желать
Событий радости греховой.
И пусть мещанскою резьбою
Дворцов гордились короли,
Как часто вывеской разбою
Святых служили костыли.

Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
Вперед, колодники земли,
Вперед, добыча голодовки.
Кто трудится в пыли,
А урожай снимает ловкий.
Вперед, колодники земли,
Вперед свобода голодать,

А вам, продажи короли,
Глаза оставлены — рыдать.
Туда, к мировому здоровью,
Наполните солнцем глаголы,
Перуном плывут по Днепровью,
Как падшие боги, престолы.
Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор.
Где роем звезд расстрел небес,
Как грудь последнего Романова,
Бродяга дум и друг повес
Перекует созвездье заново.
И будто перстни обручальные
Последних королей и плахи,
Носитесь в воздухе печальные
Раклы, безумцы и галахи.
Учебников нам скучен щебет,
Что лебедь черный жил на юге,
Но с алыми крылами лебедь
Летит из волн свинцовой вьюги.
[Цари, ваша песенка спета.
Помолвлено лобное место.
И таинство воинства — это
В багровом слетает невеста.]
И пусть последние цари,
Улыбкою поборая гнев,
Над заревом могил зари
Стоят, окаменев.
Ты дал созвездию крыло,
Чтоб в небе мчались пехотинцы,

Ты разорвал времен русло
И королей пленил в зверинцы.
И он сидит, король последыш,
За четкою железною решеткой,
Оравы обезьян соседыш
И яда дум испивши водки.
Вы утонули в синей дымке
Престолы, славы и почет.
И, дочь думы-невидимки,
Слеза последняя течет.
Столицы взвились на дыбы,
Огромив копытами долы,
Живые шествуют — дабы
На приступ на престолы.
Море вспомнит и расскажет
Грозовым своим глаголом —
Замок кружев девой нажит,
Пляской девы пред престолом.
Море вспомнит и расскажет
Грозовым своим раскатом,
Что дворец был пляской нажит
Перед ста народов катом.
С резьбою кружев известняк
Дворца подруги их величий,
Теперь плясуньи особняк
В набат умов бросает кличи.
Ты помнишь час ночной грозы,
Ты шел по запаху врага,
Тебе кричало небо „взы!“
И выло с бешенством в рога.
И по небу почерк палаческий,
Опять громовые удары,

И кто-то блаженно дураческий
Смотрел на земные пожары.

Упало Гэ Германии
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.
Смычок над тучей подыми,
Над скрипкою земного шара
И черным именем клейми
Пожарных умного пожара.
Ведь царь лишь попрошайка
И бедный родственник король, ---
Вперед, свободы шайка,
И падай молот воль.
Ты будешь пушечное мясо
И струпным трупом войн — пока
На волны мирового пляса
Не ляжет ветер гопака.
[Ты слышишь: умер „хох“,
„Ура“ умолкло и „банзай“, —
Туда, где красен бог,
Свой гнева стон вонзай!]

И умный череп Гайаваты
Украсит голову Монблана —
Его земля не виновата,
Войдет в уделы Людостана.
И к онсам мчатся вальпарайсы,
К ондурам бросились рубли.
А ты, безумец, постарайся,
Чтоб острый нож лежал в крови.

Это ненависти ныне вести,
Их собою окровавь,
Вам былых столетий ести
В море дум бросайся вплавь.
И опять заиграй, заря,
И зови за свободой полки,
Если снова железного кайзера
Люди выйдут железом реки.
Где Волга скажет „лю“,
Янтцекиянг промолвит „блю“,
И Миссисипи скажет „весь“,
Старик Дунай промолвит „мир“,
И воды Ганга скажут „я“,
Очертит зелени края
Речной кумир.
Всегда, навсегда, там и здесь!
Всем все, всегда и везде, —
Наш клич пролетит по звезде!
Язык любви над миром носится
И Песня песней в небо просится.
Морей пространства голубые
В себя заглянут как в глазницы,
И в чертежах прочту судьбы я,
Как блещут алые зарницы.
Вам войны выклевали очи,
Идите, смутные слепцы,
Таких просите полномочий,
Чтоб дико радовались отцы.
Я видел поезда слепцов,
К родным протянутые руки,
Дела купцов — всегда скупцов —
Порока грязного поруки.

Вам войны оторвали ноги —
В Сибири много костылей —
И может быть пособят боги
Пересекать простор полей.
Гуляйте ночью костяки
В стеклянных просеках дворцов,
И пусть чеканят остряки
Остроты звоном мертвецов.
В последний раз над градом Круппа,
Костями мертвых войск шурша,
Носилась золотого трупа
Везде проклятая душа.

Ты населил собой остроги,
Из поручней шагам созвучие,
Но полно дыма и тревоги,
Где небоскреб соседит с тучею.
Железных кайзеров полки
Покрылись толстым слоем пыли.
Былого пальцы в кадыки
Впились судорогою были.
Но струны зная грыж,
Одев рубахой язву,
Ты знаешь страшный наигрыш,
Твой стон — мученья разве?..

И то впервые на земле:
Лоб Разина резьбы Коненкова,
Священной книгой на Кремле,
И не боится дня Шевченко.
Свободы воин и босяк,
Ты видишь, пробежал табун?

То буйных воль косяк,
Ломающих чугуи.
Колено ставь на грудь.
Будь сильным как-нибудь.
И ветер чугуиных осп иди
Под шопоты „господи, господи“.
И древние болячки от оков
Ты указал ночному богу —
Ищи получше дураков —
И небу указал дорогу.
Рукой земли зажаты рты
Закопанных ядром.
Неси на храмы клеветы
Ветер пылающих хором.
[Кого за горло душит золото
Неумолимым кулаком,
Он, проклиная силой молота,
С глаголом молнии знаком.]
Панов не возит шестерик
Согнувших голову коней,
Пылает целый материк,
Звездою пламени красней.
И вы, свободы образа!
Кругом венки ресницы тайи,
Блестят громадные глаза
Гурриэт Эль Айн.

И изречения Дзонкавы
Смешает с чистою росой,
Срывая лепестки купавы,
Славянка с русой косой.
Где битвы алое говядо

Еще дымилось от расстрела,
Идет свобода Неувяда,
Поднявши стяг рукою смело.
И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва
И объят кольцами седыми
Дворец продажи и наживы.

Он, город, что оглоблю бога
Сейчас сломал о поворот,
Спокойно стал, едва тревога
Его волнует конский рот.
Он, город, старой правдой горд
И красотой смеха сила —
В глаза небеснейшей из морд
Жует железные удила;
Всегда жестокий и печальный,
Широкой бритвой горло нежь! —
Из всей небесной готовальни
Ты взял восстания мятеж,
И он падет на наковальню
Под молот божеский чертеж.

Ты божество сковал в подковы,
Чтобы верней служил тебе,
И бросил меткие оковы
На вороной хребет небес.
Свой конский череп человека,
Его опутав умной гривой,
Глаза белилами калеча,
Он, меловой, зажег огниво.
Кто всадник и кто конь?

Он город или бог?
Но хочет скачки и погонь
Набатный топот его ног.

Туда, туда, где Изанаги
Читала Моногатори Перуну,
А Эрот сел на колени Шангти
И седой хохол на лысой голове
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиэн беседует с Индрой,
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо,
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки,
Облокотясь на руку,
И Хоккусаем восхищена
Астарта — туда, туда!

Как филинов кровавый ряд,
Дворцы высокие горят.
И где труду так вольно ходится
И бьет руду мятежный кий,
Блестят, мятежно глубоки,
Глаза чугунной богородицы.
Опять волы мычат в пещере,
И козье вымя пьет младенец,
И идут люди, идут звери
На богороды современниц.
Я вижу конские свободы
И равноправие коров:

Былиной снов сольются годы,
С глаз человека спал засов.
Кто знал — нет зарева умней,
Чем в синеве пожара конского,
Он приютит посла коней
В Остоженке, в особняке Волконского.
И вновь суровые раскольники
Покроют морем Ледовитым
Лица ночные треугольники
Свободы звездами закрытой.

От месяца „Ая“ до недель — „играй
овраги“

Целый год для нас страда,
А говорят, что боги благи,
Что нет без отдыха труда.
До зари вдвоем с женой
Ты вязал за снопом сноп.
Что ж сказал господь ржаной?
— Благодарствую, холоп.
И от посева до ожина,
До первой снеговой тропы,
Серпами белая дружина
Вязала тяжкие снопы.
Веревкою обмотан барина,
Священников целуемый бичом,
Дыши как вол — пока испарина
Не обожжет тебе плечо,
И жуй зеленую краюху,
Жестокий хлеб, который дён?
Пока рукой земного руха
Не будешь ты освобожден.

И песней веселого яда
Наполни свободы ковши,
Свобода идет Неувяда
Пожаром вселенской души.
Это будут из времени латы
На груди мирового труда
И числу, в понимании хаты,
Передастся правительств узда.
Это будет последняя драка
Раба голодного с рублем,
Славься, дружба пшеничного злака
В рабочей руке с молотком.
И пусть моровые чернила
Покроют листы бытия,
Дыханье судьбы изменило
Одежды свободной края.
И он вспорхнет красивый угол
Земного паруса труда,
Ты полетишь бессмертно смугол,
Священный юноша, туда.
Осада золотой чумы.
Сюда глазниц небесных воры,
Умейте, лучшие умы,
Намордники одеть на моры!
И пусть лепечет звонко птаха
О синем воздухе весны,
Тебя низринет завтра плаха
В зачеловеческие сны.
Это у смерти утесов
Прибой человечества.
У великороссов
Нет больше отечества.

Где Лондон торг ведет с Китаем,
Высокомерные дворцы,
Панамую надвинув тучу, их пепла не считаем.
Грядущего творцы.
Так мало мы утратили,
Идя восстания тропой, —
Земного шара председателя
Шагают дерзкою толпой.
Тринадцать лет хранили будетляне
За пазухой, в глазах и взорах,
В Красной уединясь Поляне,
Дней Носаря зажженный порох.
Держатель знамени свобод,
Уздою правящий ездой,
В нечеловеческий поход
Лети дорогой голубой.
И, похоронив времен останки,
Свободу пей из звездного стакана,
Чтоб громыхал по солнечной болванке
Соборный молот великана.
Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежней
Земля неслась в надмирный ярус
И птица звезд осталась прежнею.
Сметя с лица земли торговлю
И замки торгова бросив ниц,
Из звездных глыб построишь кровлю
Стеклянный колокол столиц.
Решеткою зеркальных окон
Ты, синих зарев неясить,
И ты прядешь из шелка кокон,
Полеты — гусеницы нить.

И в землю бьют как колокола
Ночные звуки — великаны,
Когда их бросят зеркала,
И сеть столиц раскинет станы.

Где гребнем облаков в ночном цвету
Расчесано полей руно,
Там птицы ловят на лету
Летящее с небес зерно.
Весною ранней облака
Пересекал полетов знахарь,
И жито сеяла рука,
На облаках качался пахарь.
Как узел облачный идут гужи,
Руна земного бороны,
Они взрастут колосья ржи,
Их холят неба табуны.
Он не просил: „будь добр, бози, ми
И урожай густой роди!“
Но уравниеньям вверил озими
И нес ряд чисел на груди.
А там муку съедобной глины
Перетирали жерновами
Крутых холмов ночные млины,
Маша усталыми крылами.

И речи знания в молнийном теле
Гласились юношам веселым,
Учебники по воздуху летели
В училища по селам.
За ливнями ржаных семян ищи
Того, кто пересек восток,

Где поезд вез на север щи,
Озер съедобный кипяток.
Где удочка лежала барина
И барчуки катались в лодке,
Для рта столиц волна зажарена
И чад идет озерной водки.
Озерных шей ночные паровозы
Везут тяжелые сосуды,
Их в глыбы синие скуют морозы
И принесут к глазницам люда.
Вот море, окруженное в чехол
Холмообразного стекла,
Дыма тяжелого хохол
Висит чуприной божества.
Где бросала тень постройка
И дворец морей готов,
Замок вод возила тройка
Море вспенивших китов.
Зеркальная пустыня облаков,
Озеродей летать силен.
Баян восстания письмен
Засеял нивами станков.
Те юноши, что клятву дали
Разрушить языки —
Их имена вы угадали —
Идут увенчаны в венки.

И в дерзко брошенной овчине
Проходишь ты, буен и смел,
Чтобы зажечь костер почина
Земного быта перемен.
Дорогу путника любя,

Он взял ряд чисел, точно палку,
И, корень взяв из нет себя,
Заметил зорко в нем русалку
Того, что ничего нема,
Он находил двуличный корень,
Чтоб увидеть в стране ума
Русалку у кокорин.

Где сквозь далеких звезд кокошник
Горят Печоры жемчуга,
Туда иди, небес помощник,
Великий силой рычага.

Мы в ведрах пронесем Неву
Тушить пожар созвездья Псов,
Пусть поезд копотью прорежет синеву,
Взлетая по сетям лесов.
Пусть небо ходит ходуном
От тяжелой поступи твоей,
Скрепи созвездие бревном
И дол решеткою осей.
Как муравей ползи по небу,
Исследуй его трещины
И, голубой бродяга, требуй
Те блага, что тебе обещаны.

Балду кувалды и кияры
Жестокой силой рычага
В созвездьях ночи воздвигал
Потомок полуночной бури.
Поставив к небу лестницы,
Надень шишак пожарного,

Взойдешь на стены месяца
В дыму огня угарного.
Надень на небо молоток,
То солнце на два поверни,
Где в красном зареве Восток,—
Крути колеса шестерни.

Часы меняя на часы,
Платя улыбкою за ужин,
Удары сердца на весы
Кладешь, где счет работы нужен.
И зоркие соблазны выгоды,
Неравенство и горы денег —
Могучий двигатель в лони годы —
Заменит песней современник.
И властный озарит гудок
Великой пустыни молчания
И поезд, проворный ходок,
Исчезнет созвездья венчаннее.

Построив из земли катушку,
Где только проволока гроз,
Ты славись милую пастушку
У ручейка и у стрекоз,
И будут знаки уравниенья
Между работами и ленью,
Умершей власти без сомненья
Священный жезел вверен пенью.
И лень и мать вдохновенья
Равновеликая с трудом,
С нездешней силой упоенья,
Возьмет в ладонь державный лом.

И твой полет вперед всегда
Повторят позже ног скупцы,
И время громкого суда
Узнают истины купцы.
Шагай по морю клеветы.
Пружинь шаги своей пяты!
В чугунной скорлупе орленок
Летит багровыми крылами,
Кого недавно как теленок
Лизал, как спичечное пламя.
Черти не мелом, а любовью,
Того, что будет чертежи.
И рок, слетевший к изголовью,
Наклонит умный колос ржи.

Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря.

ПУТЬ

Сетуй утес!
Утро чорту!
Мы, низари, летели Разиным.
Течет и нежен, нежен и течет.
Волгу див несет, тесен вид углов.
Олени. Синело.
Оно.
Ива пук. Купавы.
Лепет и тепел
Ветел, летев,
Топот.
Эй, житель, лети же!
Иде беляна, ныня лебеди.
Косо лети же, житель осок!
Взять язв.
Мака бури рубакам.
Вол лав — валов!
Потоп
И
Топот!
А гор рога:
Ого-го!
Шарашь!
Эвона панове!

Женам мечем манеж!
Женам ман нож!
Медь идем! Медь идем!
Топора ропот
У крови воркуй.
Ура жару.
Не даден.
Мечам укажу мужа кумачем!
Гор рог:
Раб, нежь жен бар!
Гор рог:
Раб бар!
Бар раб!
Летел.
Вона панов,
Эвона панове,
Ворог осок косогоров.
Пресен серп
Ворона норов,
Нет ворона норов—тень!
Зарежут, туже раз!
Холоп — сполох,
Холоп — переполох,
Лап пан напал.
Волгу с ура, парус углов!
Косо лети же, житель осок!

БОЙ

Ши иши!
Медь идем, медь идем!
Зараз, зараз,
Рознь зорь,

Гон ног,
Рев вер,
Лук скул,
Ура жару,
Кулака лук,
Топ и пот,
Топора ропот
Лат речь чертал.
Колом о молоко,
Оперив свирепо.
Хама мах
Или
Махал плахам.
Или
Сокол около кос!
Ищи!
Иди!
Мани раб, баринам!
Ин вора жаровни,
И лалы пылали.
Заре раз.
[Гор о гор] рог о рог,
Лог о лог, гол о гол
Летел
Чар грач.
Магота батогом.
Гор рог:
Чем ныне меч?
Черепу перечь.
Нет, секир и кистень,
Меч мучь.
Лав осолоп полосовал.

Этак о кате

Иди.

И мак ал украду, — удар кулаками.

А жулики — лужа!

У крови воркуй!

Сажусь, сужась.

Отче, что

Манит к тинам?

Молись илом!

Я рога — горя.

Цепь ел слепец.

И лени синели.

Ужас в сажу.

И ледени, недели,

Маните, дадут туда детинам!

— Холмам лох.

Ан на

Море пером

Ал храп порхал.

Об яде белены ныне лебедя бо

Топот.

И

Шорох хорош.

Гор рог:

Ищи равоты, товарищи!

А вод вдова

Чар прач,

Течет,

Алым мыла,

Несет в тесен

Узел слезу.

Низин

Лес и морок коромысел
Летел
Нежа важен.
Но он
— Шишака шиш.
— Меч чем?
Ругала б балагур!
Нож чум, мучь жон!
Воз вод и вдов зов
Течет.
Так, кат.

ДЕЛЕЖ ДОБЫЧИ

Ворог о ров!
Кулики лук.
Он, острог гор, тсс... оно
Течет, течет
Оно.
Рублем оценив свинец, о мел бурь!
Нет, ворона норов — тень!
Узел ежели железу?
Или во плаче пчел, плеч печаль повили?
Или
Нежун, нужен
Марам.
Вид дуд жемчугом могуч между дев.
И лени синели.
Волн лов
Летел
Ими
Оперив соколом молоко свирепо?
Око

Хат птах
И жемчуга лачуг межи.
Меч, ала печаль, плачу палачем!
Лет тел!
— Низин
Лай ал.
Силача качались
Эти и те.
А колокол около ока.
Червона панов речь
Мало колоколам,
Мабыдь дыбам.
Им зов: возьми
Бел хлеб.
„Охала, ахала, ухала“.
Кормись, сим рок!
Ищи равоты, товарищи!
И бар раби,
— Раби бар!
Шишь, удушишь?
Маните детинам!
Мабыдь дыбам,
Молим о милом.
Но говори, миров огонь:
Раб, нежь жен бар!
Дебел лебедь.

ТРИЗНА

Хохотуњи кинут охох!
Плот — невень толп.
Вол лав — валов!
Я рубили или буря

Колет, как телок?

Силом молись.

Мори, панов речь, червона пиром!

А верам зов именем и воз марева.

Мать чем мечтам?

Удач чаду.

Ни заревом миловолим мове Разин.

Волога голов,

Убор грез, озер гробу.

Олени, синело.

А лбов вобла.

Но могила али гомон?

Уа или ау?

Мигал бы благим!

Манит тинам

Цели жилец

И ловень неволи

Махал плахам.

У нас не ворон, но ровен сану.

И бурлака закал руби!

То пота топот!

Товар равот!

Жарь тесом осетра ж!

Сети и тес.

Кодол унесен у лодок

И шорох! Хороши!

Мор дум о мудром.

Може бар грабежом

Отчина ничто?

Или бар гомон ого-го гоном ограбили?

Удач чаду.
Во камене, в вене маков,
Эй, житель, лети же!
Взять язв
Нужен нежун.

ПЛЯСКА

Тепел нож, жон лепет.
Ино хохотали лат охохони.
Ум дев лил ведьму.
Кат медведь, как дев дем? — так!
Дивчины нежен ниц вид.
И невени синеве ни.
А ведомо, дева,
Манила малинам.
Наг рук курган.
Ахаха!
Ухи нежь жениху.
Черевик иве речь:
Жениху запрет сок — костер пазухи неж!
Дур труд
А уа уа — а уа уа!
Мохи нежь, ахаха, женихом.
Лети чудес сед учитель.
Ни заревом нежен мове Разин.
Мот сил нежен листом
Тополя лопоть
И ляли
Топот
Рублем смел бурь.
Или бури рубили
Рубли сил бурь?

Хата та ли? лата тах!
Хата птах!
Шиш о шиш,
Меч о меч,
Кол о кол,
Воны сынов,
А кар драка!
А вера зарева
Манит детинам.
Улиц илу
Вод вдов
Дорог город.
Дар рад,
Ну, червон снов речун
Мак неженкам.
Манит синь истинам.
И раз зари...
Мор берест серебром.
Мове разгула калуг заревом.
Летел
Гул резок, озер луг.
Топот и топот.
Иду — дуди.
Наг рук курган.
Нежи жен
Чересу — дусе речь!
Мясу дусям.
Иль бури рубли,
Вы взвились, осилив взыв,
Овод деньгами дыма гнедово,
В оспе псов?
Молодухи худолом!

Лапоть топал
У себя бесу.
Може бар грабежом
Отчина ничто?
Покой и окоп.
И червоны сынов речи?
И гашу шаги.
Инде седни.
О лесе весело.
Ног гон
Вонзал босо соблазнов.
Не сосуд жемчугом летел могуч между сосен,
А цаца.
По топоту то потоп.
Пот и топ.
Вера зарев,
Я у кукуя
Лебедем, в меде бел.
Гори пирог.
Манил блинам.
Мана темь сметанам
Борожба обжоров.
И гик — киги
Летел
В око рока окороков
Кожур кружок,
Ртом смотр,
Мори пиром.
Чад удач
Летел.
Хи-ха, ха-хи
Рог гор,

Рави вар.
Вари рав.
Это варенец цена равоте.

СОН

А, кашель лешака!
И шел леший
Дид
Рот втор
Дуд
Мечем
Оперив свирепо
Имен неми.
Волн лов
Ман снам.
А ничего лечу, человечина!
Потока топ
И
Топот
В лапу ног огонь упал.
Оно
Море пером
Манило долинам.
Вон лечь челнов
Лет тел.

ПЫТКА

Шишака шиш
У сел меч умер дремучем лесу.
К
Городу судорог
Топора ропот

Летел.
Шорох хорош.
Щелка — клещ.
Мор-те, ветром.
А палача лапа!
Эй, жен нагота батога нежней!
Я бес, себя
Оперив свирепю
Моров огнями, имян говором.
Шилом молишь?
Ков веревок.
И мятель плетями.
Лети чум мучитель.
Иди.
А тенета.
Так кат.
Матушка к шутам!
А, вера марева.
Я
Махал плахами
Моров оговором.
Мотун кнутом.
Лап пал.
До вора жар овод,
Рев вер!
Вин нив.
О! О!
Неуч чуен
Зубом обуз,
Долог голод
Лав рвал
Я.

В оспе псов
Шипишь.
Молишь шилом?
Не мерь ремень
Меня — я нем.
Ширишь.
Шипишь.
И чур, о поручи.
А палача лапа!
Кого-то коготь
Имян гологол огнями!..
Но казнен закон
Мор беру ребром.
О, летит рев! Мечи бичем! верти тело!
Муч чум.
Мечет, течь чем?
Мать чем мечтам.
У жил лижу?
Вон ал рот орланов
Летел.
Волога голов.
Рев вер,
Восажу Веду у дев ужасов.
Томен немот
Баб
Топот
Или венки оне вили.
Разин на кобылу, улыбок нанизарь.
И
Как?
Морде бедром
Летел.

Топот
Ребер
И дрожи жорди.
Волокут, а кату колов
Не сажусь — ужасен.
Путь туп.
Коты пыток:
Гон черчу — мучь речь ног.
Торопи пороть
И худолог, ремень, не мерь голодухи.
Так, кат.

Мы, низари, летели Разиным.

НОЧЬ ПЕРЕД СОВЕТАМИ

1

Сумрак серый, сумрак серый,
Образ дедушки подарок.
Огарок скатерть серую закапал.
Кто-то мешком упал на кровать,
Усталый до смерти, без меры.
В белых волосах, дико всклокоченных,
Видна на подушке — большая, седая голова.
Одеяла тепло падает на пол.
Воздух скучен и жуток.
Некто притаился.
Кто-то ждет добычи.
Здесь не будет шуток,
Древней мести кличи!

И туда вошло
Видение зловещее.
Согнуто крючком,
Одето, как нищая.
Хитрая смотрит,
Смотрит хитрая!
— Только пыли вытру я.
Тряпки-то нет!“
Время! Скажи! Сколько старухе
Минуло лет?
В зеркало смотрится — гробы.
Но зачем эти морщины злобы?

Встала над постелью
С образком девичьим,
Точно над добычей
Стоит и молчит.
— Барыня, а барыня!
— Что тебе? Ключи?
Лоб большой и широкий,
В глазах голубые лучи,
И на виски волосы белые дико упали,
Красивый своей мощью лоб окружая, обвивая.

— Барыня, а барыня!
— Ну что тебе?
— Вас завтра повесят!
Повисишь ты, белая!
— Ты с ума сходишь? Что с тобой делается?
Тебе надо лечиться.
— Я за мукой пришла, мучицы...
Буду делать лепешки.
А времени, чай, будет скоро десять.
Дай барыню разбуду.
— Иди спать! Уходи спать ложиться!
Это ведьма, а не старуха.
Я барину скажу!
Я устала, ну что это такое,
Житья от нее нет,
Нет от нее покоя! —
Опустилась на локоть и град слез побежал.
— Пора спать ложиться!
Радостный хохот
В лице пробежал!
Темные глазки сделались сладки.

— Это так... Это верно... кровь у меня мужичья!
В Смольном не была,
А держала вилы да веник...
Ходила да смотрела за кобылами.
Барыня на завтра мне выдайте денег.
— Барыня, вас завтра
Наверно повесят...
Шопот зловещий
Стоит над кроватью
Птицею мести далеких полей.
Вся темнота, крови засохшей цвета.
И тихо уходит,
Неясное шамкая:
— На скотном дворе работала,
Да у разных господ пыль выметала,
Так и умру я,
Слягу в могилу
Окаянную хамкою.

2

В Смольном девицей была, белый носила передник,
И на доске золотой имя записано: первую шла.
И с государем раза два или три, тогда был наследник,
На балу плясала в общей паре.
После сестрой милосердия спасала больных
В предсмертном паре, в огне.
В русско-турецкой войне
Ходила за ранеными: дать им немного ласки и нег.
Терпеливой смерти призрак, исчезни!
И заболела брюшною болезнью,
Лежала в бреду и жажде.
Ссылным потом помогала, сделалась красной.

Была раз на собраньи прославленной „Воли Народной“ — опасно как! —

На котором все участники позже

Качались удушены

Шеями в царские возжи.

Билися на-смерть, боролись

Лучшие люди с неволей.

После ушла корнями в семью:

Возилась с детьми, детей обучала.

И переселилась на юг.

Дети росли странные, дикие,

Безвольные, как дитя,

Вольные на все

Ничего не хотя.

Художники, писатели,

Изобретатели.

Отец ее был со звездою старик,

Бритый, высокий, холодный.

Теперь в друг друга, рукой книги и ржи,

Вонзили обе ножи:

Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве,
ее благородие.

Мучения ножик и наслаждения порхал; муки и мести

Глаза голубые и глаза темной жести.

Баба и барыня.

Обе седые, в лохматых седых волосах.

Да у барыни губы в белых усах.

Радовались неге мести и муки.

Потом долго ломала барыня руки

На грязной постели.

Это навет!

А на кухне угли самовара
Уж засвистели.
Скоро барин придет,
Пусть согреет живот.

3

Старуха снова пришла, но другая.
— Слухай, барыня, слухай,
Побалакай с старухой!
Бабуся моя,
Как молодкой была,
Дородной была
И дородна и бела,
Чернобровая,
Что калач из печи! что пирог!
Славная девка была.
Бела и здорова —
Другую такую сыщи!
И прослыла коровой:
Парни-хлыщи!
Да глаза голубые веселухи закаянной!
А певунья какая!
Лесной птицы
Глотка звонче ее.
Заведет, запоет и с ума всех сведет.
Утром ходит в лесу,
Свою чешет косу,
И запоет!
Бредят борзые и гончие,
Барин коня своего остановит,
Рубль серебряный девке подорит.
Барин лихой, седые усы...

А барин наш был собачар.
Псарню большую имел.
И на псарне его
Были черные псы, да курчавые;
Были белые все,
Только чуточку ржавые.
Скачут как бесы, лижут лицо,
Гнутся и вьются, как угри, в кольцо.
А сколько визга, а сколько лая!
Охота была удалая,
Барыня милая! Воют в рога,
Скачут и ищут зайца-врага.

Белый снежок,
Скачет комочек —
Заячьи сны, —
Белый на белом,
Уши черны.
Вот и начался по полю скок!
Тонут в пыли
Черные кони и бобыли!
Тонут в сугробах и тонут!
Гончие воют и стонут!
Друг через друга
Псы перескакивают,
Кроет их вьюга,
Кого-то оплакивают.
Стонут и плачут.
А барин то наш скачет... и скачет,
Сбруей серебряной блещет,
Черным арапником молотит и хлещет.
Зайчиха дрожит, уже вдовушка.

Людам любя заячья кровушка!
Зайца к седлу приторочит,
Снежного зайца, нового хочет.
Или ревет, заливаётся в рог.
Лютые псы скачут у ног.
Скачут поодаль холопы любимые,
Поле белехонько, только кусточки.
Свищут да рыщут.
Свеженьких ищут собачии рточки.
С песней в зубах, в зенках огонь!
Заячий кончится гон,
Барин удалый к бабе приедет,
Даст ей щеночка:
„Эй, красота!
Вот тебе сын али дочка,
Будь ему матка родимая.
Барскому псу дай воспитание“.
Барину псы дорогая утеха, а бабе они — испытание!
Бабонька плачет,
Слезками волосы русые вымоет,
Песик весь махонький — что голубок!
Барская милость — рубль на зубок.
„Холи и люби, корми молоком!
Будет тебе богоданным сынком“.

Что же поделает бабонька бедная?
Встанет у притолки бледная
И закатит большие глаза — в них синева.
Отшатнется назад,
Схватит рукою за грудь
И заохает, и заохает!
Вся дрожит. Слезка бежит,

Точно ножом овцу полоснули.
Ночь. Все уснули.
Плачет и кормит щеночка-сыночка
Всю ночь
Барская хамка — песика мамка!
— Чужие ведь санки!

Барин был строгий, правдивой осанки,
С навесом суровым нависших бровей,
И княжеских верно кровей.
Был наровитый,
Резкий, сердитый,
Кудри носил серебристые —
Помещик был истый,
Длинные к шее спускались усы.
— Теперь он давно на небеси,
Батюшка-барин!
Будь земля ему пухом!
Арапник шуршал: шу да шу! Полз ровно змей.
Как я заслышу,
Девчонка, застыну и не дышу,
Спрячуся в лен или под крышу.
Шепчет как змей: „Не свищу, а шкуру спущу“.
А барин арапником
Вдруг как шарахнет
Холопа по морде!
Помещик был истый, да гордый.

И к бабке пришел: „На, воспитай!
Славный мальчик крови хорошей,
А имя — Летай!
Щенка, стерегись, не души!

Немилость узнаешь барской души!
Эй, гайдуки!
Дайте с руки!
Из полы в полу!
И вот у бабуси щеночек веселый.
А от деда у ней остался мальчишка,
Толстый да белый, ну словно пышка.
Взять бы и скушать! — глаза голубые.
Дед-то, вишь, помер, зачах,
Хоть жили оба на барских харчах!
Сидит на скамейке,
Ерошит спросонку
Свои волосенки.
Такой кучерявый, такой синеглазый,
Игры да смех, любит проказы!
Бабка заплакала. Вся побледнела.
И зашаталась,
Бросилась в ноги,
Серьгою звеня!
„Барин, а барин! спасите меня!“
Ломит, ломает белые руки!
Кукиш! матушка-барыня, кукиш!
„Арапником будет спаситель,
Ты ему matka,
Кабыздох был родитель“.
Вот и вся взятка!
Кукиш. Щеночек сыночком остался.
Хлопнулась о пол, забилась в падучей.
Барин затопал,
Стукнул палкою.
Угрюмый ушел, не прощаясь, без ласки!
Брови как тучи.

Вот и жизнь началась!
 Так и заснули втроем,
 Два ведра на коромысле: черный щенок и сынок
 милоокий.

На одной руке собака повисла,
 Тявкает, мать собачую кличет,
 Темного волоса ищет,
 Сладко заснул зайцев сыщик!
 Грезит про снежное поле и скачку,
 Храпит собачка.

А на другой
 Папаня родимый обнял ручками грудь,
 Ротиком в мать родимую тычет,
 Песни мурлычет,
 Глаза протирает и нежится —
 Родненький
 Возле родинки.

Или встает и сам с собою играет,
 Во сне распевает.
 Грезит, поет малое дитя,
 Рукою тянет матери грудь.
 Жуть!

Греет ночник.
 Здесь собачища
 С ртищем
 Зайчище ловить, в зубищах давить.
 А там мой отец, ровно скотец,
 На материнскую грудь
 Разевает свой ртец,

Ейную грудку сосет мальчик слюнявый.
И по сонной реке две груди — два лебедя плывут.
А рядом повиснул щенок будто рак и чернеет,
лапки клешни!
Чмок да чмок! мордашкой звериной в бабкину
грудь.
Тяв да тяв, чернеет, всю искусал... собачьими
зубками царапает.
А рядом отец — бедный дурак... сирота соломенный,
Горемычный, — то весь смеется, то слезками капает.

Вот и кормит всю ночь бабка, бабуся моя,
Щеночка — сыночка, да вскрикнет!
А после жутко примолкнет, затихнет.
На груди своей матушки и собачьей няни
Бедный папаня прилег.
Дитя — мотылек!
Грудь матери — ветка.
Песик, шелковый, серый, курчавый комок,
Теплым греет животиком,
Сладким нежится котиком,
А рядом папаня
К собачьей няне
И матери милой курчавится.
Детским тянется ротиком
К собачьей няне.
Бьет, веселится мальчонка,
Колотит в рученки,
Целуется да балуется! тянется — замер.
К матери, что темнеет на подушке большими, как
череп, глазами,
Чье золото медовое волнуется, чернеет,

Рассыпалось на грудь светлыми, как рожь, волосами.
Прилез весь голенький, сморщенный, глазками синяя,
Красненьким скотиком,
Мальчик кудрявенький, головой белобрысый,
В грудку родимую тычет.
А в молоке нехватка и вычет!
Матери неоткуда его увеличить!
И оба висят как повешенные.

Лишь собачища
Сопит,
Черным чутьем звериным
Нежную ищет сонную грудь, ползет по перинам.
Мать... у нее на смуглом плече, прекрасно нагом,
Белый с черными пятнами шелковый пес!
Имя ему — Летай-Кабыздох!
А на другом,
Мух отгоняя,
Мой папаня
Над головкою сонною ручку занес...
Чмокает губками сонными.

Вот и плачет она тихо каждую ночку,
Слезы ведрами льет.
Грудь одна ее, знай, — милому сыну ее, синеглазому
Что синие глазки таращит и пучит.
А другую сосет пес властелина ее.
Шелковый цуцик
Кровь испортил молодки невинную.
Зачем я родилась дочкой?
И по ночам в глазах целые ведра слез.
Бабка как вскочит босая.

Да в поле, да в лес!
Темной ночью, а буря шумит!
И леший хохочет.
И, бог сохрани, потревожить!
— Мачехой псу быть не может!
Вот и стала мамкой щеночка.
Вот и плачет всю ночь.
Осеннею ночью — ведра слез!
Черный шелковый комок на плечо ей слез.
И зараз чмок да чмок.
Собачье дитя и человечье,
А делать нечего!
Захиреешь в плетях,
Засекут, подашь если в суд! — штаны снимай!
Сдерут кожи алый лоскут; положат на лавку!
Здесь выжлец, с своим хвостиком,
А здесь мой отец, возле матери нищим!
Суседские дети мух отгоняли.
Барыня милая!
Так-то в то время холопских детей
С нечистою тварью ровняли.
Так они вместе росли — щенок и ребенок.

5

И истощала же бабка!
Как щепка.
Задумалась крепко!
Стала худеть!
Бела как снежок,
Стала белей горностаюшки.
В чем осталась душа?
Да глазами молодка больно хороша!

Мамка Летая

Как зимою по воду пойдет да ведра возьмет, —

Великомученица ровно ходит святая!

В черной шубе прозрачною стала, да темны глаза.

Свечкою тает и тает.

Лишь глаза ее светят как звезды,

Если выйдет зимою на воздух.

Не жилец на белом свете,

Порешили суседи!

А Летай вырос хорош,

День ото дня хорошея!

Всегда беспокойный,

Статный, поджарый, высокий, стройный!

Скажут Летаю, прыгнет на шею!

И целует тебя по собачьи.

Быстрых зайцев давил как мышей,

Лаял,

Барин в нем души не чаял!

„Орлик, цуцик! цуцик!“

И кормит цыплятами из барских ручек.

Всех наш Летай удивил.

А умный! Даром собачьих книг нет!

Вечно то скачет, то прыгнет!

Только папаня, в темный денек,

Раз подстерег,

И на удавке и удавил.

И повесил

Перед барскими окнами.

У барина перед окнами

Отродье песье

Висит. Где его скок удалой, прыть!

— „Чтобы с ним господа передохнули,
Пора им могилу рыть!“
Утром барин встает,
А на дворне вой!
Смотрит: пес любимый,
Удавленный папой,
Висит как живой,
Крутится,
Машет лапой.
Как осерчал!
Да железной палкой в пол застучал:
— Гайдук!
Эй!
Плетьей!
Да плетью, да плетью!
Так и папаню
Засек до чахотки,
Кашель красный пошел! На скамейке лежит —
В гробу лежат краше!

А бабку деревня
Прозвала Собакевной.
Сохнуть она начала, задушевная!
Нет, не уйти ей от барского чиха!
Рябиною стала она вянуть и сохнуть!
Первая красавица, а теперь собачиха.
Встанет и охнет:
„Где вы, мои золотые
Дни и денечки!
Красные дни и годочки,
Желтые косы крутые?“
Худая как жердь,

Смотрит как смерть.
Все уплыло и прошло!
И вырвет седеющий клок.
И стала тянуть стаканами водку,
Распухшее рыло.
Вот, как оно барыня было!
Чорта ли?
Женскую грудь собаченкою портили!
Бабам давали псов в сыновья,
Чтобы кумились с собаками.
Мы от господ не знали житья!
Правду скажу:
Когда были господские, —
Были мы ровно не люди, а скотские.
Ровно корова!
Бают, неволю снова
Вернуть хотят господа?
Барыня, да?
Будет беда,
Гляди, будет большая беда!
Что говорить —
Больше не будем с барскими свиньями есть из корыт!

6

Пришла и шепчет:
— Барыня, а барыня!
— Ну что тебе, я спать хочу!
— Вас скоро повесят!
Хи-их-хи! их-хи-хи!
За отцов, за грехи!
Лицо ее серо точно мешок
И на нем ползал тихо смешок!

— Старуха, слушай, пора спать!

Иди к себе!

Ну что это такое,

Я спать хочу!

Белым львом трясется большая седая голова.

— Ведьма какая-то,

Она и святого взбесит.

— Барыня, а барыня!

— Что тебе?

— Вас скоро повесят!

Барин пришел. Часы скрипят:

Белый исчерченный круг.

— Что у вас такое. Опять?

— Барин мой миленький

Я на часы смотрю,

Наверно скоро будет десять!

— Прямо покоя нет.

Ну что это такое:

Приходит и говорит,

Что меня завтра повесят.

ТРУБА ГУЛЬ-МУЛЛЫ

1

Ок!

Ок!

Белый пух обронен
Нежной лебеда грудью
В диких болотах,
Быстрые ноги босые, скорые ноги пророка.
На палке чугунный
Пасется вол ночной,
А в глазах его огонь солнечный.

Ок! Ок!

Это пророки
Сбежались
С гор
Встречать
Чадо Хлебникова:
— Наш! — сказали священники гор,
— Наш! — запели цветы.
Золотые чернила
Пролиты в скатерти луга
Весною неловкою.
— Наш! — запели дубравы и рощи
Сотнями глаз, зорких солнышек, —
Ветвей благовест.

Только „Мой“ не сказала дева Ирана...
Только „Мой“ не сказало иранское [золото].

2

Я с окровавленным мозгом,
Белые крылья сломив,
Упал к белым снегам,
Алым садам,
К вечно-зеленым розгам
И горным богам.
Спасайте, спасите, товарищи!
Горы, снежные горы!
„Курск“, не спеша, гулко шел к вам.
Море трепетом шелковым
Кружева пеною соткано.
Крига темнеет Крапоткина
В руке моряка.
В прошлом столетьи искали огня закурить.
„Завоевание хлеба“
Может найдется поближе?
И ярче огонь.
Глазами целуя меня, я — покорение неба!
Моря и моря!
Синеют без меры.
Если ты взглянешь назад,
Заря
Чуть открывает глаза —
Нежная, сонная, слабо позевывает, рот закрывая рукой.

3

И в звездной охоте
Я звездный скакун,
Я Разин напротив,
Я Разин навыворот.
Плыл я на „Курске“ судьбе поперек.
Он грабил и жег, а я слова божок.

Пароход-ветросек
Шел через залива рот.
Разин деву
В воде утопил.
Что сделаю я? Наоборот? Спасу!
Увидим. Время не любит удил.
И до поры не откроет свой рот.
В пещерах гор
Нет никого?
Живут боги?
Я читал в какой-то сказке,
Что в пещерах живут боги,
И как синенькие глазки
Мотыльки им кроют ноги.
Через Крапоткина в прошлом,
За охоту за пошлым
Судьбы ласкают меня.
И снова после опалы трепещут крылом
За плечами.

4

„Мы, обветренные Каспием,
Великаны алокожие
За свободу в этот час поем,
Славя волю и безбожие.
Пусть замолкнет тот, кто нанят,
Чья присяга морю лжива,
А морская песня грянет,
На устах молчит нажива“.
Ветер, ну?

5

Пастух очей стоит поодаль.
Белые очи богов по небу плыли!

Пила белых гор. Пела моряна.
Землею напета пластина.
Глаза казни
Гонит ветер овцами гор
По выгону мира.
Над кремневой равниной овцами гор
Темных гор пастись в городах.
Пастух людских пыток поодаль стоит.
Снежные мысли,
Белые речки.
Снежные думы
Каменного мозга.
Синего лба.
Круч кремневласых неясные очи.
Пытки за снежною веткой шиповника.
Ветер — пастух божьих очей.
Гурриет-эль-Айн,
Тахирэ сама
Затянула на себе концы веревок,
Спросив палачей, повернув голову:
„Больше ничего?“
„Возжи и олово
В грудь жениху!“
Это ее мертвое тело — снежные горы.

6

Темные ноздри гор
Жадно втягивают
Запах Разина,
Ветер с моря.

Я еду —
Ветер пыток.

7

Полк узеньких улиц.
Я исхлестан камнями!
Булыжные плети
Исхлестали глаза степных дикарей.
Пощады небо не даст!
Пулей пытливых взглядов проулков
Тысячи раз я пророгожен.
Высекли плечи
Булыжные плети!
Лишь башня из синих камней на мосту
Смотрела богоматерью [и перевязывала раны].
Серые стены стегали
Вечерний рынок.
Вороньи яйца!
„Один — один шай“ — „Один — один шай“.
Лёви. Лови.

8

Кудри роскоши синей,
Дикие болота царевичи,
Синие негою,
Золото масла крышей покрыли.
Костры. Огни в глиняных плошках.
Мертвая голова быка у стены. Быка несут на палках.
Дикие тени ночей. Напитки в кувшинах ледяные.
В шалях воины.
Лотки со льдом, бобы и жмыхи.
И залежи кувшинов голубых,
Как каменоломни синевы,
Чей камень полон синевы.
Здесь свалка неба голубого.
Зеленые куры, красных яиц скорлупа.

И в полушариях черных
Блестает глазами толпа, как черепа, в четки стуча.

9

Из улицы темной: „Русски не знаем.
Зидарастуй табаричь“.

Дети пекут улыбки больших глаз
В жаровнях темных ресниц
И со смехом дают случайным прохожим.

Калека-мальчик руки-нити
Тянул к прохожим по-паучьи у мечети.

Вином запечатанным
С белой головкой над черным стеклом
Жены черные шли.

Кто отпечатает?

— Лениво!

Я кресало для огнива. —

Животно испуганно глаз глупо прелестных черною
прелестью

Под покрывалом
От страха спасителем.

Белой чахотки

Забрало белеет у черных теней.

Белые прутья на черные тени спускались — смерти
решетка.

Белой окошка черной темницы решеткой.

Тише. Востока святая святых — женщин идущих.

10

Полночь. Решт. Рыжие прыжки кошек.

И двойкой зеленой кладбищенских глаз

Дразнят собак.

Гау, гау! га-га! га-га!

Те отвечали лениво.

Это чорта сыны прыгали в садах.
На голые шары черепов — бритые головы,
С черным хохлом где-то сбоку (дыма черное облако) —
Весь вечер смотрели мы.
Прокаженные жены, подняв покрывало,
Звали людей: „Приди, отдохни!
Усни на груди у меня“.

11

Тиран без Т. —
„Реис тумам донья“.

Али

В Председатели шара земного
Посвящается за стаканом джи-джи.
Страна, где все люди Адамы,
Корни наружу небесного рая!
Где деньги — пуль,
И в горном ущельи
Над водопадом гремучим
В белом белье ходят ханы,
Тянут лососей
Частою сеткою на ручке.
И все на ша: шах, шай, ширé.
Где молчаливому месяцу
Дано самое звонкое имя —
Ай.

В этой стране я!

12

Весна морю дает
Ожерелье из мертвых сомов.
Трупами услан весь берег.
Собакам, провидцам, пророкам
И мне

Морем предложен обед
Рыбы уснувшей
На скатерти берега.
Будь человек! Не стыдись! Отдыхай, почивай.
Кроме моря, здесь нет никого.
Три мешечка икры
Я нашел и испек
И сыт!
Вороны, каркая, — в небо!
Упокой господи и вечную память
Пело море
Тухлым собакам.
В этой стране
Алых чернил взаймы у крови, дружеский долг,
Время берет около Троицы,
Когда алым пухом
Алеют леса недотроги.
И золотые чернила весны
В закат опрокинуты, в немилости.
И малиновый лес
Сменяет зеленый.
В этой стране собаки не лают,
Если ночью ногою наступишь на них.
Кротки и тихи
Большие собаки.
Тебе люди шелка не дадут, —
О, пророк, и дереву знаменем быть:
Пальцы кровавые лета запечатлены на зеленых
листах.

13

Сегодня я в гостях у моря.
Скатерть широка песчаная.

Собака поодаль.
Ищем. Грызем.
Смотрим друг на друга.
Обедал икрою и мелкой рыбешкой.
Хорошо! Хуже в гостях у людей!
Из-за забора: „Урус дервиш, дервиш урус“.

14

Десятки раз крикнул мне мальчик.
Косматый лев, с глазами вашего знакомого,
Кривым мечом
Кому-то угрожал — заката сторож.
И солнце, перезревшей девой
(Сладкое любит варенье),
Ласково закатилось на львиное плечо
Среди зеленых изразцов,
Среди зеленых изразцов!

15

Хан в чистом белье,
Темной рукой за ветку держа,
Нюхал алый цветок, сладко втягивал в ноздри за-
пах цветка,

Жадно глазами даль созерцая.
„Русски не знай — плёхо!
Шалтай-балтай не надо, зачем? плёхо!
Учитель, давай
Столько пальцев и столько —
[Через 50 лет]
Азия русская.

Россия—первая, учитель харяшо.
Толстой большой человек, да, да, русский дервиш.
А! Зардешт, а! хордшо!“
Хан и сагиб, пьянея, алый нюхал цветок,

Белый и босой,
И смотрел на синие дальние горы.
Крыльцо перед горами в коврах и горах винтовок,
Выше предков могилы.
А рядом пятку чесали сыну его:
Он хохотал,
Стараясь ногою попасть слугам в лицо.
Тоже он был в одном белье:
По саду ханы ходят беспечно в белье
Или копают заступом мирно
Огород капусты.
„Беботву вевать“
Славка запела.
Булыжники собраны в круг,
Гладка как скатерть долина,
Выметен начисто пол ущелья:
Из глазу не надо соринки.
Деревья в середке булыжных венков.
Черепами людей белеет долина.

16

Хворост на палках —
там чай-ханэ пустыни. Черные вишни-соблазны на
удочке тянут голодных глаза.

Армянские дети пугливы.
Сотнями сказочных лбов
Клубятся, пузырятся в борьбе за дорогу
Корни смоковницы
(Я на них спал)
И в землю уходят. Громадным дуплом
Настеж открыта счетоводная книга столетий.
Ствол (шире коня поперек), пузырясь,
Подымал над собой тучу зеленую листьев и веток,

Градом ветвей стекая к корням.
Ливень дерева сверху пролился,
С ними сливаясь в узлы
Ячейми сети огромной.
В корни и землю, внедряясь в подземную плоть,
Ячейками сети срастались глухою петлею.
И листья, певцы того что нет,
Младшие ветви и старшие
И юношей толпы — матери держат старые руки.
Чертеж? Или дерево?
Сливаясь с корнями, дерево капало вниз и текло
древесною влагой.

Ствол пучится брюхом, где спрячутся трое.
В медленном ливне столетий
Долине дает второе зеленое небо.
Здесь я спал изнемогший.
Кольца ячей в 4 угла.
Лебеди снега и спеси —
Белые кони паслися на лужайке оседланы.
„Ты наше дитю! вот тебе ужин, ешь и садись!“
Целых два дня я питался лесной ежевикой.
Мне крикнул военный, с русской службы бежавший:
„Чай, вишни и рис“.
„Пуль“ в эти дни я не имел, шел пеший.
— „Беботву вевять“, — славка поет!
Чудищ, видений ночей черные призраки,
Черные львы.

17

Плясунья, шалунья вскочила на дерево,
Стоит на носке, другую в колене согнув.
И согнутые в локте руки занесла над головой.
Кружев черен наряд.

Сколько призраков.

Длинная игла дикообраза блестит в лучах Ая.

Ниткой перо примотаю, и стану писать новые песни

Очень устал. Со мною винтовка и рукописи.

Лает лиса за кустами.

Где развилок дорог поперечных, —

Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки
раскинул.

Не ночлег, а живая былина Онеги.

Звезды смотрят в душу с черного неба.

Ружье и немного колосьев — подушка усталому.

Сразу заснул. Проснулся, смотрю кругом надо
мною

На корточках дюжина воинов.

Курят, молчат, размышляют.

„По-русски не знай“.

Покрытые роскошью будущих выстрелов

Что-то думают.

За плечами винтовки.

Груди в широкой броне из зарядов.

„Пойдем!“ Повели. Накормили, дали курить голод-
ному рту.

И, чудо, утром вернули ружье. Отпустили.

Ломоть сыра давал мне кардаш,

Жалко смотря на меня.

18

— Садись, Гуль-мулла!

Черный горячий кипяток брызнул мне в лицо.

— Черной воды? Нет? — Посмотрел Али-Магомет,
засмеялся:

— Я знаю, ты кто.

— Кто?

— „Гуль-мулла“ — „Священник цветов?“

— Да-да-да.

Смеется, гребет.

Мы несемся в зеркальном заливе

Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом
железным

С надписью: „Троцкий“ и „Роза Люксембург“.

19

— Лодка есть,

Товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем!

Денег нет? Ничего.

Так повезем! Садись! —

Наперерыв говорили киржимы.

Я сажусь к старику.

Он добродушен и красен, о Турции часто поет.

Весла шумят. Баклан полетел.

Из Энзели мы едем в Казьян.

Я счастье даю? Почему так охотно возят меня?

Нету почетнее в Персии

Быть Гуль-муллой,

Казначеем чернил золотых у весны

В первый день месяца Ай.

Крикнуть балуя Ай,

Бледному месяцу Ай,

Справа увидев.

Лету — крови своей отпустить,

А весне — золотых волос.

Я каждый день лежу на песке,

Засыпая на нем.

Где море бьется диким неуком,
Ломая разума дела,
Ему рыдать и грезить не о ком,
Оно, морские удила
Соленой пеной покрывая,
Грызет узду людей езды.
Так девушка времен Мамая,
С укором к небу подымая
Свои глаза большой воды,
Вдруг спросит нараспев отца:
„На что изволит гневаться?
Ужель она тому причина,
Что меч суровый в ножны сует,
Что гневная морщина
Ему лицо сурово полосует,
Согнав улыбку точно клам,
Лик разделивши пополам?“

По затону трех покойников,
Где лишь лебедя лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.
Засунув меч кривой за пояс,
Ленивою осанкою покоясь,
В свой пояс шелково-малиновый
Кремни для пороха засунув,
Пока шумит волны о сыне вой
Среди взволнованных бурунов,

Был заперт порох в рог коровы,
На голове его овца,
А говор краткий и суровый
Шумел о подвигах пловца.
Как человеческую рожь
Собрал в снопы нездешний нож.
Гуляет пахарь в нашей ниве.
Кто много видел, это вывел.
Их души, точно из железа,
О море пели, как волна;
За шляпой белого овечьего руна
Скрывался взгляд головореза.

Умеет рукоять столетий
Скользить ночами, точно тать,
Или по горлу королей
Концом свирепо щекотать,
Или рукой седых могил
Ковать столетья для удил.
И Разина глухое „слышу“
Подыметя со дна холмов,
Как знамя красное взойдет на крышу
И поведет войска умов.

И плахи медленные взмахи
Хвалили вольные галахи.
Была повольницей полна
Уструга узкая корма.
Где пучина для почина
Силу бурь удесятеря,
Волги синяя овчина
На плечах богатыря.

Он стоит полунагой,
Горит пояса насечка,
И железное колечко
Опускается серьгой.
Не гордись лебяжьим видом,
Лодки груди птичий выдум!
И кормы, весь в сваях угол,
Не таи полночных пугал.
Он кулак калек
Москве кажет — во!
Во душе его
Поет вещей Олег.
Здесь все сказочно и чудно,
Это воли моря полк,
И на самом носу судна
Был прибит матерый волк.
А отец свободы дикой
На парчевой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилась рублем.
Ножами наживы
Им милы, любезны
И ветер служивый
И смуглые бездны.
Он, невидим и неведом,
Быстро катится по водам.
Он был кум бедноты,
С самой смертью на ты.
Бревен черные кокоры
Для весла гребцов опоры.
Сколько вражьих голов

Срубил в битве галах,
Знает чайка-рыболов,
Отдыхая на шестах.
Месяц взял, того, что наго, вор.
На уструге тлеет заговор.
Бубен гром и песни дуд.
И прославленные в селах
Пастухи ножей веселых
Речи тихие ведут.

„От отечества, оттоле
Отманил нас атаман.
Волга-мать не видит пищи,
Время жертвы и жратвы,
Или разумом ты нищий,
Богатырь без головы?
Развяжи кошель и грош
Бедной девки в воду брось!
Куксит, плачет целый день.
Это дело — дребедень.
Закопченою девчонкой
Накорми страну плотвы.
В гневе праведном серчая,
Волга бьется, правды чая.
Наша вера — кровь и зарево,
Наше слово — государево“.

Богатырь поставил бревна
Твердых ног на доски палубы,
Произнес зарок сыновний,
Чтоб река не голодала бы.
Над голодною столицей

Одичавших волн,
Воин вод свиреполицый,
Тот, кому молился чолн,
Не увидел тени жалобы.
И уроком поздних лет
Прогремел его обет:

„К богу-могу эту куклу!
Девы-мевы, руки-муки,
Косы-мосы, очи-мочи!
Голубая Волга — на!
Ты боярами оболгана!“

Волге долго не молчитя.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги, точно волки,
Ветер бешеной погоды.
Вьется шелковый лоскут.
И у Волги у голодной
Слюни голода текут.

Волга воеет, Волга скачет
Без лица и без конца.
В буревой волне маячит
Ляля буйного донца.

„Нам глаза ее тошны.
Развяжи узлы мошны.
Иль тебе в часы досуга
Шелк волос милей кольчуги?“

„Баба-птица ловит рыбу,
Прячет в кожаный мешок.

Нас застенок ждет и дыба,
Кровь прольется на вершок“.

И морю утихнуть легко
И ветру свирепствовать лень.
Как будто веселый дядько,
По пояс несется тюлень.
Нечеловеческие тайны
Закрыты шумом, точно речью.
Так на Днепре, реке Украины,
Шатры таились Запорожской Сечи.
И песни помнили века
Свободный ум сечевика.
Его широкая чуприна
Была щитом простолюдина,
А меч коротко-голубой
Боролся с чертом и судьбой.

На изготовку!
Бери винтовку.
Топай, братва:
Направо 38.
Сильнее дергай!
— Есть!
— На изготовку!
Лезь!
— Пожалуйста,
Милости просим!
— Стой, море!
— Врешь, мать
Седая голова,
Ты нас море не морочь.
Скинь очки.
Здесь 38?
— Да! Милости просим,
Дорогие имениннички! —
Трясется голова
Едва жива.
— Мать!
Как звать?
Живее веди нас, мамочка!
Почтенная
Мамаша!
Напрасно не волнуйтесь,
Все будет по хорошему.

Белые звери есть?
— Братишка! Стань у входа.
— Сделано — чердак.
— Годок, сюда!
— Есть!
— Топаем, море,
Закрутим усы!
Ловко прячутся трусы...
Железо засунули,
Налетели небосые,
Расхватали все косые,
Белые не обманули их.

— А ты, мать, живей
Поворачивайся!
И седые люди садятся
На иголку ружья.
А ваши мужья?
Живей неси косые,
Старуха, мне, седому
Морскому волку!
Слышу носом, —
Я носом зорок, —
Слышу верхним чутьем:
Белые звери есть.
Будет добыча.
— Брат, чуешь?
Пахнет белым зверем.
Я зорок.
А ну-ка гончие-братва!

... Вот сколько есть —
И немного жемчужин.

— Сколько кусков?
— Сорок?
— Хватит на ужин!
Что разговаривать!
Бери, хватай!
Братва, налетай!
И только!
Не бары ведь!
Бери
Сколько влезет.
Мы не цари
Сидеть и грезить.
Братва, налетай, братва, налетай!
Эй, море, налетай! Налетай орлом!
— Даешь?
Давай, сколько влезет!
— Стара, играй польку.
— Что барышня грезит.

Г о л о с: Мама, а мама!
— Мать, а мать!
Держи ответ!
Белой сволочи нет?
— Завтра — соберется совет.
А я стара, гость!
Алое, белое,
Белая кость.
Где тут понять?
И белые волосы уже у меня.
Я — мать.

— Птах! Птах!
Выстрел, дым, огонь!

— Куда пострел?
Постой! Оружье, руки вверх!
— В расход его, братва!
— Стань юноша у стенки.
Вот так! Вот так!
Волосики русики,
Золотые усики.
— У печки стой, белокурый,
Скидай с себя людские шкуры!
— Гость моря виноват
За промах:
Рука дрожала.
Шалунья пуля.
— Смеется, дерзость или наглость?
Внести в расход? —
— Даешь в лоб, что-ли?
Товарищи братва,
Морские гости?
О вас молва: вы — великодушны. —
— Вполне свободно!
Это море может,
Эту милость может
Море оказать!
— Старуха, повернись назад.
— Даем в лоб что-ли
Белому господину?
— Моему сыну?
— Рубаху снимай, она другому пригодится,
В могилу можно голяком.
И барышень в могиле — нет.
Штаны долой
И поворачивайся.

И все долой! Не спи —
Заснуть успеешь. Сейчас заснешь, не
просыпаясь!

— Прощай, мама,

Потуши свечу у меня на столе.

— Годок, унеси барахло. Готовься! Раз!
два!

— Прощай дурак! Спасибо

За твой выстрел.

— А так!.. За народное благо.

Трах-тах-тах!

Трах!

— Спасибо, а какое:

С голубиное яйцо

Или воробьиное?

Вот тебе и загадка!

Готов голубчик,

Ноги вытянул.

А супчик был хорош

И маска хороша.

Еще два выстрела:

Вот этот в пол,

А этот в бога!

Вот так! Сюда!

Пошлем его к чертям собачьим.

Мы с летучим морем

За веселыми плечами

Над рубахой белой,

Над рубахой синей,

Увидим — бабахнем!

Штаны у меня широки,
В руке торчит железо,
И не седой бобер,
А море синее
Тугую шею окружило
И белую рубашку.
Богу мать.
— Браток, что его, поднимать?
Нести?
Оставить — некрасиво.
— Плевать! Нам что!
— Мама!
А это что за диво:
И будто семнадцать лет,
А волосы — снег!
А черные глаза
Живые!
— Море приносит с собою снег.
Я в четверть часа поседела.
Если не нравится смотреть на старуху,
Не смотрите, отвернитесь!
Владимир! Володя! Владимир!
Мама! Он голый!
— Барышня!
Трупы холода не знают!
И мертвые сраму не имут.
— Дела! Дела! Вольно!
— Подлец! Смеется после смерти!
— А рубашек таких
Я не нашивал — хороша!
И пятен крови нет.
Полотно добротное.

Вошел и руку на плечо.
— Годок! Я гада зарубил!
Лежит на чердаке.
У пулемета.
— Эге-ге!
— Где мать!
— Очень белая барышня,
Так вы побелели
Еще до нашего прихода?
Морского ветра еще и не дуло,
Морем и ветром еще и не пахло,
А здесь уже выпал снег
На чердак и на головы.
Торчало пулеметов дуло
Из-под перины?
Ничего, ничего.
Это ранней весной
Вишневый цвет
Упал вам на голову снегом.
Встряхнитесь, осыпятся листья,
Милая барышня.
Покрывало для гроба
Из цветов хорошее.
— Это и только!
— Браток!
Что ты ее мучаешь?
— А ну-ка,
Милая барышня в белом,
К стенке!
— Этой? Той?
Какой?
·Я го-то-ва!

— А ну, к чертям ее
— Стой!
Довольно крови!
Поворачивайся кукла!
— Крови? Сегодня крови нет!
Есть жижа, жижа и жижа.
От скотного двора людей
Видишь темнет лужа?
Это ейного брата
Или мужа.
— Владимир!
— Мама!
— Ты бы сказала „папа“,
Это было бы веселее!
Где он, в бегах?
В орловских рысаках?
Дал рыси и прибавил ходу!
А может скаковой любимец?
И обгоняет в скачках?
Ну, кукла, уходи,
Пошла к себе!
Глаз не мозоль!
Здесь будет попойка.
Не плачь, сестрица,
Здесь не место вольным.
У нас есть тоже сестры
В деревнях и лесах,
А не в столицах.
Иди себе спокойно, человек,
Своей дорогой.
— Раз зеркало, я буду бриться!
И время есть.

Криво стекло,
Косая рожа.
Друзья в окно
Все это барахло —
Ему здесь быть не гоже.
И сделаем здесь море,
Чтоб волны на просторе.
Да только чайки нет.
А зеркало, его долой —
Бах кулаком!
— Себя окровянил.
Слянка красных чернил это зеркало.
— Вояка с зеркала куском!
Порой жестоки зеркала. Они
Упорно смотрят,
И судей здесь не надо —
Поболее потемок!
— Годок!
Дай носовой платок!
— Владимир!
Володя!
— Он вымер! Он вымер
Сегодня!
Вымер и вымер!
Тебя не услышит!
Согнутый на полу
Владеет миром.
И не дышет.
— А это что? Господская игра,
Для белой барышни потеха?
Сидит по вечерам
И думает о муже,

Брянчит рукою тихо.
И черная дощечка
За белую звучит
И следует, как ночь
За днем упорно.
Кто играет из братвы?
— А это можем...
Как бахнем ложем...
Аль прикладом...
Глянь братва,
Топай сюда,
И рокот будет и гром и пение...
И жалоба,
Как будто тихо
Скулит под забором щенков.
Щенок забытый всеми.
И пушек грохот грозный вдруг поды-
мается,
И чей-то хохот, чей-то смех подводный
и русалочий.
Стопились. Струнный говор,
Струнный хохот, тихий смех.
— Прикладом бах!
Бах прикладом!— Смейся море!
Море смейся! Большой кулак бури
Сегодня ходи по ладам...
В окопы неприятеля снарядом... раз!
В землянках светлый богоматери празд-
ник,
Где земляки проводят тихо.
Нужду сначала кормят
Белым телом,

А потом червей.
Две смены, две рубашки:
Одна другой тесней.
Одно и то же кушанье двум едокам.
Ишь, зазвенели струны!
Умирать полетели.
Долго будет звенеть
Струнная медь.
— Вдарь еще разок,
Годок!
Гудит, как пчелы,
Когда пчеляк отымет мед.
Бах! Бах!
— Ловко моряки.
Наше дело морское:
Бей и руши!
Бей и круши!
Ломите, ломайте.
Грабьте и грабьте,
Морские лапти!
Смелей! Не робь!
Не даром пухли,
Чинить найдутся,
А эту рухлядь,
Этот ящик, где воет цуцик,
На мостовую
За окно!
Пугать соседок
Эдак!
— Это дело подходящее
Море, бурное оно.
Это по-нашенски,

А не по-нищенски.
В дребезги
Ббаам-паах!
— Нынче море разгулялось,
Море расходилось,
Море разошлось.
Экая сила.
— Никого не задавило?
— Никак нет.
Только трех муравьев,
Вышедших на разведку.
Пылища. Силища!
— Где винтовка, детка?
Годок, сними того грача?
— Сейчас!
Тах!
Готов.
Попал?
— Упал.
Мертв.
— А где старуха.
Мать, ты здесь?
Жратвы!
Вина и лососины!
И скатерть белую.
Цветы. Стаканы.
Будет пир, как надо.
Да чтоб живей
И мясо и жаркого,
Не то согнем в подкову!
— Годочки, будем шамать,
Ашать, браточки, кушать.

Жрать.

Сейчас пойдет работа-мама!

И за скулюю затрещит.

А все же пахнет.

От мертвых дух идет.

— Владимир!

— Владимира ей надо — стонет!

А нас забыла, нас не хочет!

Давайте все морочить:

— Мы здесь!

— Я здесь, Оля!

— Я здесь, Нина!

— Я здесь, Верочка!

— Мяу!

— Вот смехота!

Тонким голосом

Кричи по-бабьему.

— Ребята, не балуйтесь

У гроба, у смерти.

— А ловко ты

Прикладом вдарил.

Как оно запоеет,

Зазвенит, заиграет и птицей, умирая, по-
летело.

Аж море в непогоду.

Слушай, там в дверях дощечка:

„Прошу стучать“.

Браток поставил „к“ — вышло:

„Прошу скучать“

На дверях гроба молодого,

Где сестры мертвого и вдовы.

Ха-ха-ха!

Какое дышло.
— И точно, есть о ком
Скучать той барышне вдове
С седыми волосами.
Мы, ветер, принесли ей снег.
Ветер моря.
Море так море!
Так, годочки,
Мы пройдем, как смерть
И горе.
С нами море!
С нами море!
Трупы валяются.
Море разлитое,
Море — ноздри рваные,
Да разбойничье,
Беспокойничье.
Аж грозой кумачевое,
Море беспокойничье,
Море Пугачева.
— Я верхним чутьем
Белого зверя услышал.
Олень! Слышу
Пахнет белым!
Как это он бахнет!
За занавеской стоял,
Притаился маменькин сынок.
Дал промах
И смеется.
Я ему: — „Стой, малой!“
А он:
„Даешь в лоб что-ли?“

„Вполне свободно“, говорю.
— Трах-тах-тах!
Да так весело
Тряхнул волосами,
Смеется.
Точно о цене спрашивается,
Торгуется.
Дело торговое,
Дело известное,
Всем один конец,
А двух не бывать.
К богу мать.
А плевать.
„Вполне свободно“, говорю,
„Это можно,
Эту милость может
Море оказать“.
— Трах-тах-тах!
— Вот как было:
Стоит малой:
— „Даешь в лоб что-ли?“
„Вполне свободно“ —
Отвечаю.
Трах-тах-тах! Дым! И воздух обожгло.
Теперь лежит златоволосый,
Чтобы сестра, рыдая, целовала.
„Киса, моя киса,
Киса золотая“.
— Девочка, куда?
Пропуск на кошку!
Стой!
— Годок, постой,

Нет пропуска на кошку.
В окошко!
— Как звать?
— Марусей.
— Мы думали маруха,
Это лучше.
— За стол садитесь, гости.
— Прямая, как сосна,
Старуха держится.
А верно ей сродни Владимир.
Сын. Она угрюма и зловеща.
„Из-под дуба, дуба, дуба!“
Часам к шести.
Налей вина, товарищи,
Чтоб душу отвести!
Пей, море,
Гуляй, море,
Шире, больше!
Плещись!
Чтобы шумело море,
Море разливанное!
„Свадьбу новую справляет
Он веселый и хмельной... и хмельной“...
Вот денечки.
— Садись, братва, за пьянку!
За скатерть-самобранку.
„Из-под дуба, дуба, дуба!“
Садись, братва!
— Курится?
— Петух!
— О, боже, боже!
Дай мне закурить.

Моя-тоя потухла.
Погасла мало-мало.
Седой, не куришь — там на небе?
— Молчит.
Себя старик не выдал,
Не вылез из окопа.
Запрятан в облака.
Все равно. Нам водка море разлитое.
А богу — облака. Не подеремся.
Вон бог в углу —
И на груди другой
В терну колючем,
Прикованный к доске, он сделан,
Вытравлен
Порохом синим на коже —
Обычай морей.
А тот свечою курит...
Лучше нашей — восковая!
Да, он в углу глядит
И курит.
И наблюдает.
На самоварную лучину
Его бы расколоть!
И мелко расщепить.
Уголь лучшего качества!
Даром у него
Такие темно-синие глаза,
Что хочется влюбиться,
Как в девушку.
И девушек лицо у бога,
Но только бородатое.
Двумя рядами низко

Струится борода,
Как сумрачный плетень
Овечьих стад у озера,
Как ночью дождь,
Глаза передрасветной синевы
И вещи и тихие
И строги и прекрасны,
И нежные несказанной речью,
И тихо смотрят вниз
Укорной тайной,
На нас, на всю ватагу
Убийц святых,
На нашу пьянку
Убийц святых.
— Смотри, сойдет сюда
И набедокурит.
А встретится, взмахнет ресницами,
И точно зажег зажигалкой.
Темны глаза, как небеса,
И тайна вещая есть в них
И около спокойно дышит.
Озера синей думы!
— Даешь в лоб что-ли?
Даешь мне в лоб, бог девичий,
Ведь те же семь зарядов у тебя.
С большими синими глазами?
И я скажу спасибо
За письма и привет.
— Море! Море!
Он согласен!
Он взмахнул ресницами,
Как птица крыльями.

Глаза летят мне прямо в душу,
Летят и мчатся, машут и шумят.
И строго точно казнь
Он смотрит на меня в упорном холоде!
О ужасе рассказами раскрытые широко,
Как птицы мчатся на меня
Синие глаза мне прямо в душу.
Как две морские птицы большие, синие и темные,
В бурю, два буревестника, глашатая грозы.
И машут и шумят крылами! Летят! Торопятся.
Насквозь! Насквозь! Ныряют на дно души.
— Так... Я пьян... И это правда...
Но я хочу, чтоб он убил меня
Сейчас и здесь над скатертью,
Что с пятнами вина, покрытая стеклом.
— Шатия-братия!
Убийцы святые!
В рубахах белых вы,
Синея полосатым морем,
В штанах широких и тупых внизу и черных,
И синими крылами на отлете, за гордой непослуш-
ной шеей,
Похожими на зыбь морскую и приборой,
На ветер моря голубой,
И черной ласточки полетом над затылком,
Над надписью знакомой, судна именем.
О, говор родины морской пловучей крепости
И имя государства воли!
Шатия-братия,
Бродяги морские!
Ты топаешь тупыми носками
По судну и земле,

И в час беды не знаешь качки,
Хоть не боишься ее в море.
Сегодня выслушай меня:
Хочу убитым пасть на месте,
Чтоб пал огонь смертельный
Из красного угла. —
Оттуда бы темнело дуло
Чтобы сказать ему — дурак!
Перед лицом конца.
Как этот мальчик крикнул мне,
Смеясь беспечно
В упор обойме смерти.
Я в жизнь его ворвался и убил,
Как темное ночное божество.
Но побежден его был звонким смехом,
Где стекла юности звенели.
Теперь я бога победить хочу
Веселым смехом той же силы,
Хоть мрачно мне
Сейчас и тяжело. И трудно мне.
— Бог! я пьян... „Назюзился... наш дядя“...
„А время на судно итти“. — Идем!
— Я пьян, но слушай...
Дай закурим!
И поговорим с тобою по душам.
Много ты сделал чудес,
Только лишь не был отцом.
Что там! Я знаю!
Ты девушка, но с бородой.
Ты ходишь в ниве и рвешь цветы,
Плетешь венки
И в воды после смотришься.

Ты синеглазка деревень,
Полей и сел,
С кудрявою бородкой —
Вот ты кто.
Девуца! Хочешь
Подарю духи?
А ты назначишь
День свиданья,
И я приду с цветами
Утонченный и бритый,
Томный.
Потом по набережной,
По взморью мы пройдемся.
Под руку,
Как надо?
Давай поцелуемся.
Обнимемся и выпьем на ты.
Иже еси на небеси.
— Братва, погоди,
Не уходи, не бесись!
— Русалка
С туманными могучими глазами,
Пей горькую!
Так.
— Братва!
Мы где увидимся?
В могиле братской?
Я самогона притащу,
Аракой бога угощу
И созовем туда марух.
На том свете
Я принимаю от трех до шести.

Иди смелее:
Боятся дети,
А мы уж юности прости.
Потом святого вдрызг напоим,
Одесса-мама запоем.
О боги, боги, дайте закурить!
О чем же дальше говорить.
Пей, дядько, там в углу!
Ай!
Он шевелит устами
И слово произнес... из рыбьей речи.
Он вымолвил слово, страшное слово,
Он вымолвил слово,
И это слово, о, братья,
„Пожар!“
— Ты пьян? — Нет, пьяны мы.
— До свидания на том свете.
— Даешь в лоб, что-ли?
.....
— Старуха! Ведьма хитрая!
— Ты подожгла.
Горим! Спасите! Дым!
А я доволен и спокоен.
Стою, кручу усы и все как надо.
Спаситель! Ты дурак.
— Дает! Старшой, дает!
В приклады.
Дверь железная!
Стреляться?
Задыхаться?

Старуха: Как хотите!
(показываясь)

ПЕРЕВОРОТ В ВЛАДИВОСТОКЕ

День без костей. Смена властей...

Переворот.

Линяют оборотни;

Пешие толпы, конные сотни.

В глубинах у ворот,

В глубинах подворотни,

Смуглый стоит на русских охотник.

Его ружье листом железным

Блестит, как вечером болото.

И на губах дыханье Саки

И песня парней Нагасаки.

Здесь боевое, служебное место,

А за волною — морская невеста.

У самурая

Смотрел околыш боем у Цусимы.

Как повесть мести, полный гневом,

Блестел.

„Идите прочь“ — неслась пальбы суровой речь,

Речь, прогремевшая в огне вам!

Над городом взошел заморский меч.

И он, как месяц молодой,

Косой, кривой...

Сноп толп, косой пальбы косимый.

Он тяжело падал за улицы на свалку.

Переворот... дыхание Цусимы.

Тела увозят на двуколке.

И алое в бегах,

Торопится, течет, спешит рекою до зареза,
Железо и железо!
Где зелень прежняя? Трава бывалая?
И знамя алое?
И ты, зеленый плащ пророка?
Тебя забыл дол Владивостока!
Он, променяв для новых дел,
Железною щетиною поседел!
Как листьями рагоз
Покрытые, ряды пехоты
Идут спокойно молчаливо,
Как листьями рагоз покрытое болото,
Как листьями рагоз покрыто дно залива.
На суд очей далекого залива
Проходит тесная пехота.
Настойчив, меток
Ком дроби беглых глаз!
И город взят зарядом
Упорной сотни глаз.
И пыль, взметенная снарядом,
Опять спокойно улеглась.
И мертвых ищет водолаз.
Потом встает в морских растениях
И видит все: он поседел
И выпал снег на строгом бобрике.

С народом морозов — народы морей!
Боги мороза, — на лыжи скорей!
Походка тверда самурая.
Праздника битвы уснувшего края.
А волны пели: звеним! звеним!
Вприпрыжку шашка шла за ним,

Как воробей скакала по камням мостовой
И пищи искала — кто здесь живой?
Вот песнь: меняйте смерть на беглеца, —
Два жребия пред вами!
Кому поспориться случилось.
Бывало, босая девченка спешит за мальчишкой
Вприпрыжку, босая, кляня!
Проказы юных лет!
О камни звеня,
Так шашка волочилась вслед!
Пускай белила, — дерзкий снег лица,
На скулы выпали ему.
Разрез очей и темен и жесток,
Пускай сукно зеленого покроя,
Знакомого войскам земного шара образца,
Одеждою военною служило,
Окраска полевых пространств,
А шашка нежность разделила
С нарядной записною книжкой,
Где тангенсы и косинусы,
Женой второй, ревнуя, ссорясь.
Но старый бог войны, блеснув сквозь облака
Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка.
Сквозя сквозь воина стекло
Виденьем ужасным:
Виденьем древнего лубка,
Глаза косые подымая
Достойным воином Мамаю,
Он проходил высокий горец.
В нем просыпались старые ножа сны,
И дух войны; смертей счета
И пулеметов строгое та-та!

В броне из телячьих копыт,
Он сошел с островного лубка.
И червем шелковым шиты
Голубые одежды его облака.

Где мертвые русы, старой улицы бусы.
Желтые бесы; пушки выстрелом босы.
Гопак пальбы по небу топал,
Полы для молний сотрясал
Широких досок синева.
Полы небесной половицы;
Смычок ходил Амура и Невы.
Огня сверкала полоса;
И сладко ловить и сладко ловиться!
Паре глаз чужого бога,
Шуму крыл — улыбка дань!
Там, где темная дорога,
В сердце нежность и тревога,
Быстры уличные лица,
Сладко верить и молиться,
Темной улице молиться!
Бьется шашка его о пол;
Умный черный глаза пепел.

Море подняло белого выстрела бивень,
Море подняло черного зарева хобот,
Ока косого падает ливень —
Город пришельцами добыт.
Глаз, косою глаз ручей,
Льется, шумит и бежит.
Насмешливой улыбкой улыбайся
Глаз, привешенный седой головою китайца!

В ночном лесу военных зарев
Он стукнул в дверь рукой ударив.
Повторный удар кулака —
Это в дверь застучала опять,
Дверь моряка,
Его боевая рука, ночной шум в облака.

И падал град на град,
Не с голубиное яйцо, как полагается,
А величиною в скорлупу умершей птицы Рук,
Охотницы воздушной за слонами, —
Дедов смутной грозы, может быть грезы, —
Несущей слонят в своих лапах.
Слоны исчезали как зайцы,
Почуяв ее приближавшийся запах.
Они бежали табунами в страну Сибири и березы,
Страшнее не видели сов они,
Желтым костром глаз очарованы, —
Совы слонов!

Пришел немного пьяный и веселый,
Горел, желтел огонь околыша,
И кукла войн за ним и кто-то шел еще.
Что хочет он у „русской няни“?
Стоит и дверь за ручку тянет.
„Моя играй-играя
С тобою мало-мало“.
В эту пору ждать гостей?
Кто он? Быть подпоркой двери нанят,
Кто он, в полночь? Только стук.
Нет ответа, нет вестей!
Деревцо вишневое, щебетавшее „да“,

Вишня в лучах золотого заката,
Бог войны, а с ним беда,
Стукнул в двери твоей хаты!
В старом городе никого нет, город умер и зачах, —
Бабочка голубая, в золотых лучах!

Черные сосны в снегу,
Черные сосны над морем, черные птицы на соснах —
Это ресницы.

Белое солнце,
Белое зарево —
Черного месяца ноша, —
Это глаза.

Золотая бабочка
Присела на гребень высокий
Золотого потопа,
Золотой волны —
Это лицо.

Золотая волна золотого потопа
Сотнями брызг закипела,
Набежала на кручу
Золотой пучины.

Золотая бабочка
Тихо присела на ней отдохнуть,
На гребень морей золотой,
Волны закипевшей.
Это лицо.

Это училось синее море у золотого,
Как подыматься и падать
И закипать и рассыпаться золотыми нитями,
Золотыми брызгами, золотыми кудрями
Золотого моря.

Золотыми брызгами таять
На песке морском,
Около раковин моря.
Косая бровь все понимала.
„Моя играй-играя
Мало-мало“.
Око косое бога войны
Старой избы окном покосилось,
Спрятано в бровях лохматых,
Белую мышью смотрело.
Он замер за дверью, лучше котом
Прыжок на добычу сделать готов.
Пела и билась железная шашка,
Серебряной билась игрой.
За дверью он дышет и замер,
И смотрит косыми глазами.
„Моя тебя не знай!
Моя тебя видай-видай!
Моя с тобой играя мало-мало?“
Осада стен глухих речами!
Их двое, полужнакомы они,
Ведут беседу речью ломаной.
Он знает слабые места
Нагого тела, нагого воина проломы.
Он знает ямку живота,
Куда летит удар борца
Прямою вилкой жестких пальцев, —
Могилы стук без обиняка!
Летит наскок наверняка!
Умеет гнуть быстрее соломы тела чужие!
Он малый и тщедушный —
Ровесник в росте с малышами,

Своей добычею послушной,
Играет телом великана.
Одним лишь знаньем тайн силач,
С упругим мячиком ловкач.
Играет телом великана.
Умеет бросить на-земь мясо,
Чужой утес костей и мяс,
Рассыпаться стеклом стакана,
В пространство за ушами
Двумя лишь пальцами вломясь.
Его умел, нагой, без брони,
Косой удар ребром ладони,
Ломая кости пополам,
Как-будто грохнувший утес,
Чужой костяк бросать на слом.
Ударом молнии коснувшись кадыка,
Приходом роковой падучей
На землю падать учит
Его суровая рука.

Иль, сделав из руки рога,
Убийце выколоть глаза,
Его проворно ослепить
Наскоком дикого быка,
И радость власти тихо пить.
И пальцам тыл согнув богатыря,
Приказ ума удесятеря,
Чтоб тела грохнулся обвал
И ноги богу целовал.
И пальцы хрупкие ломать,
Согнув за самые концы,
Убийцу весть покорнее теленка,

Иль бросить на колени ниц
Чужое мясо, чужой утес,
Уже трусливый, точно пес.
Иль, руку вывернув ему,
На пол-прямых согнувши локоть, —
Вести послушнее ребенка.
И за уши всадив глубоко ногти,
Ухода разума позвать чуму.
И на устах припадок пены,
Чтобы молитвою богам
Землею мертвою легли к его ногам
Безумных сил беспомощные члены.
Или, чужие наклоня пальцы,
Победу длить и впредь и дальше!
В опасные места меж ребер
Он наносил удар недобер.
И, верный друг удачи,
Нес сквозь борьбу решения итог,
Как верный ход задачи:
Все, кроме ловкости, ничто!
Четою птиц, летевших,
Косые очи подымались кверху
Под тонкими бровями.
Как крылья эти брови, как крылья в часы бури,
Жестокие и злые, застывшие в полете.
И красным цветком осени
Были сложены губы.
Небрежный рта цветок, жестокою чертой означен,
На подбородок брошен был широкий. —
Это воин востока.
Пыли морской островов, пыли морей странный посол,
Стоял около двери, тихо стуча.

К сениям, где ласточка тихо щебечет,
 Где учит балясин училище с четами нечет,
 Где в сумраке ум рук — господ кистей,
 Смех: — ай, ай! — лов наглых, назойливых ос,
 Нет их полету костей,
 Злее людских плоскостей
 Рвут облака золотые
 У морей ученических кос.
 Жалобой палубы подняты грустные очи,
 Кто прилетел тихокрылый?
 Солнц
 И кули с червонцами звезд наменять
 На окрик знакомый!
 „Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!“

Ласточки две,
 Как образ семьи в красном куте,
 Из соломы и глины
 Вместо парчи
 Свили лачугу:
 Взамен серебра образу был
 Этих ласточек брак.
 Синие в синем муху за мухой ловили,
 Ко всему равнодушны — и голосу кути
 И рою серебряной пыли,
 К тому, что вечерние гаснут лучи,
 Ясная зайчиков алых чума
 В зелени прежней, кладбище солнца, темнеет, пора!

Вечер и сони махали крылом щебе ча.

Вечер. За садом, за улицей, говор на „ча“:
„Чи чадо сюда прилетело?

Мало дитя?“

Пчелы телегу сплели!

Ласточки пели цивить!

Черный взор нежен и смугол,

Синими крыльями красный закутан был угол.

Пчелы тебя завели.

Будет пора и будет велик

Голос моря — переплыть

И зашатать морские полы

Красной Поляны

Лесным гопаком,

О ком,

Речи несутся от края до края,

Что брошено ими „уми“

Из умирая.

И эта весть дальше и больше

Пальцами Польши,

Черных и белых народов,

Уносит лады

В голубые ряды

Народов, несущихся в праздничном шуме

Без проволочек и проволочек.

С сотнями стонными

Проволок ящик.

(С черной зеркальной доской).

Кто чаровал

Нас, не читаемых в грезах,

А настоящих,

Бросая за чарами чары вал.
И старого крова очаг,
Где город — посмешище,
Свобода — седая помещица,
Где птицам щебечется,
Бросил, как знамя,
Где руны — весна Мы!
Узнайте во сне мир!
Поссорившись с буднями,
Без берега нив
Ржаницы с ржаницей
Увидеться с студнями
Их носит залив,
Качает прилив,
Где море рабочее вечером трудится —
Выбивает в камнях свое: восемь часов!
Разбудится! Солнце разбудится!

Заснуло, —
На то есть
Будильник
Семи голосов, веселого грома,
Веселого хохота, воздушного писка.
Ограда, — на то есть
Напильник,
А ветер — доставит записку.
На поиск! На поиск!
Пропавшего солнца.
Пропажа! Пропажа!
Пропавшего заживо.
В столбцах о краже
Оно такое:

Немного рыжее,
Немного ражее,
Теперь под стражею,
Веселое!
В солнце-жорные дни
Мы не только читали,
Но и сами глотали
Блинами в сметане
И небесами другими,
Когда дни нарастали
На масленой.
Это не море, это не блин,
Это же солнышко
Закатилось сквозь вас с слюной.
Вы здесь просто море,
А не масленичный гость.
Точно во время морского прибоя
Дальняя пена ваши усы.
Съел солнышко в масле и сыт.
Солнце щиплет дни
И нагуливает жир,
Нужно жар его жрецом жрать и жить,
Не худо ежели около кусочек белуги,
А ведь ловко едят в Костроме и Калуге.

Не смотри, что на небе солнце величественно
Нет, это же просто поверье язычества.
Солнышко, радостей папынька!
Где оно нынче?
У чорта заморского запонка?
Чорт его спрятал в петлицу?
Выловим! Выловим!

Выудим! Выудим!
Кто же, ловкач,
Дерзко выломит удочку?
И вот девушка-умница, девушка-чудочко
Самой яркой звездой земного погона
Блеснула, как удочка
За солнцем
В погоню, в погоню
Лесою блеснула.
И будут столетья газеть,
Потомков века,
На вас, как червяка.
Солнышко, удись!
Милое, удись!
Не будь ослуж
Моляны
Красной Поляны.
И перелетели материк Расеи вы
Вместе с Асеевым.
И два голубка
Дорогу вели крючку рыбака.
А сам рыбак —
Страдания столица —
В знакомо синие оковы
Себя небрежно заковал,
Верней другие заковали,
И печень смуглую клевали
Ему две важные орлицы,
И долгими ночами
Летели дальше величаво.
А вдалеке просты, легки
Зовут мальчишки: — голяки!

Ведь Синь и Голь
В веках дружат
И о нашествии Синголов
Они прелестно ворожат.
И речи врезались в их головы,
В стакане черепа жужжат.
[Здесь богатырь в овчине похож на творца Петербурга
И милые дивчины и корчи падуцей летевшие зорко.]
Придет пора
И слухов конница
По мостовой ушей
Несясь копытом будет цокать;
Вы где-то там,
В земле Владивостока.
И жемчуг около занозы
Безумьем запылавшей мысли,
Страдающей четко зари,
Двух раковин небесной и земной —
Нитью выдуманных слез.
Вы там, где мощное дыхание кита!
Теперь из шкуры пестро золотой,
Где яблок золотых гора,
Лесного дикого кота
Вы выставили локоть.

Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными
Играть преступно в альчики.
И парусами вдохновенными
Мы тронем аль чеки.
Согласны? Стало будет кон,
Хотя б противился закон,

И вот решения итог:
Несите бабки и биток.
Когда же смерти баба-птица
Засунет мир в свой кожаный мешок,
Какая вдумчивая чтица
Пред смыслом строк отступится на шаг,
Прочтя нечаянные строки?
Осенняя синь и вы в Владивостоке,
Где конь ночей отроги гор, —
Седой, — взамен травы ест,
И наклонился низко мордой.
И в звездном блеске шумов очередь,
Ваш катится обратный выезд,
Чтобы Москву овладивосточить.
И жемчуг северной Печоры
Таили ясных глаз озера:
Снежной жемчужины — северный жемчуг.
И, выстрелом слов сквозь кольчугу молчанья,
Мелькали великие реки,
И бегали пальцы дороги: стучания
По черным и белым дощечкам ночей.

Вот Лена с глазами расстрела
Шарахалась волнами лени
В утесы суровых камней.
Утопленник плывал по ней
С опухшим и мертвым лицом.
А там, кольчугой пен дыша,
Сверкали волны Иртыша,
И воин в северной броне
Вставал из волн, ракушек полн,
Давал письмо для северной Онеги.

Широкие очи рогоз,
Коляска из синих стрекоз
Была вам в поездке Сибирью сколоченный воз.
И шумов далекого моря обоз,
Ударов о камни задумчивых волн,
Тянулся за вами, как скарб.
Россия была уж близка.
И честь отдавал вам сибирский мороз.
Хотели вы не расплескать
Свидания морей беседы говорливой
Серебряные капли,
Нечаянные речи
В ладонях донести, —
Росой летя на крыльях цапли, —
Ту синеву залива, что проволокой путей далече
Искала слуха шуму бурь
И взвизгов ласточек полету,
И судей отыскать для вкуса ласточек гнезда мор-
ского,
И в ухо всей страны Валдая, —
Где вечером Москва горит сережкой, —
Шепнуть проделки Самурая,
Что море куксило страдая,
Что в море плавают япошки;
И подковав на синие подковы,
Для дикой скачки
Страну дороги Ермаковой,
Чтоб вывезть прошлое на тачке.
И сруб бревенчатый Сибири,
В ладу с былиной широкой
Дива стоокого,
Вас провожал

Не тряскою коляской
Из сонма множества синих стрекоз.
Шатер небес навесом был ночлега.
В широкой радуге морозных жал
Из синих мух, чьи крылья сверк морей,
Везла вас колымага,
Воздушная телега
Олега! Олега!
Любимца веков!
Чтоб разом
Был освещен неясный разум,
И топот победы Сибири синих подков,
И дерзкая другов ватага.

Умеем написать слова любые
На кладбище сосновой древесины.
Я верю, многие не струсят
Вдруг написать чернилами чернил
Русалку, божество,
И весь народ, гонимый стражей книг,
Перчаткой белой околоточных.
А вы чернилами вернил:
Верни! Верни!
На полотне обычных будней
Умеее коряво начертать,
Хотя бы „божество“,
В неловком вымолве увидеть каменную бабу
Страны умов,
Во взгляде степь Донских холмов?
Не в тризне
Сосен и лесов,
Не на потомстве лесопилен

И не на кладбище сосновом бора, —
А в жизни, жизни,
На радуге веселья взора,
На волнах милых голосов
Скоро, споро,
Корявый почерк
Начертать
И, крикнув — „Ни черта!“,
В глаза взглянуть городского, —
Свисток в ушах, ведь пишется живое слово,
А с этим ссорится закон
И пятит свой суровый глаз в бока!
Начертана событий азбука:
Живые люди вместо белого листа.
Ночлег поцелуев ресница,
Вместо широкого поля страницы
Для подписи дикой.
Давайте из знакомых
Устраивать зверинцы
Задумчивых божеств,
Чтобы решеткою дела,
Рассыпав на соломах,
Заснувшие в истомах,
С стеклянным волосом тела.
Где „да“ и „нет“ играло в дурачки,
Где тупость спряталась в очки,
Чтоб в наших дней задумчивой рогоже,
Сидели закутанные некто
Для неба не гожи,
На небо немного похожи.
И граждане речи
Стали граждане жизни.

Не в этом ли, о песнь, бег твой?
Как та дуброва оживлена,
Сама собой удивлена,
Сама собой восхищена,
Когда в ней плещется русалка!
И в тусклом звездном ситце,
Усталая носиться, —
Так оживляет храмы галка!

Бывало я, угрюмый и злорадный,
Плескал, подкравшись в корнях ольхи,
На книгу тела имя Ольги.
Речной волны писал глаголы я.
Она смеялась, неповадны
Ей лица сумрачной тоски,
И мыла в волнах тело голое.
Но лишь придет да единица,
Исчезнет надпись меловой доски
И, как чума, след мокрой губки
Уносит все — мое хочу на душугубке,
И ропот быстрых вод
В поспешных волнах проворных строк,
Неясной мудрости урок,
Ведь не затем ли,
Чтобы погоду и солнечный день обожествить
В книге полдня, сейчас
Ласточка пела цивить!

В избе бревенчатой событий
Порой прорублено окно —
Стекланных дел
Задумчивое но.

Бревенчатому срубам,
Прозрачнее окна,
Его прозрачные глаза,
На тайный ход событий
Позволят посмотреть.
Когда сошлись Глаголь и Рцы
И мир качался на глаголе
Повешенной Перовской,
Тугими петлями войны,
Как маятник вороньих стай —
Однообразная верста!
Столетий падали дворцы,
Одни остались Асеевы,
Вы Эр, покинули Расею вы,
И из России Эр ушло,
Как из набора лишний слог,
Как бурей вырвано весло...
И эта скобок тетива,
Раскрытою задачей,
От вывесок пив и пивца

Звала в Владивосток.
Очей Очимира певца
Охотники удачи!
Друзья, исчислите,
Какое мыслете,
Обещанное Эм,
Размолот как жернов время
В муку для хлеба,
Его буханку принесут?
Мешочником упорным?
Но рушатся первые цепи

И люди сразились и крепи
Сурового Како!
Как? Как? Как?
Так много их:
Ка... Ка... Ка...
Идут, как новое двуногое,
Колчак, Корнилов и Каледин.
Берет могильный заступ беден,
Ему могилу быстро роет:
„Нас двое, смерть придет, утроит“.
Шагает Ка,
Из бревен наскоро
Сколоченное,
То пушечной челюстью ляская,
Волком в осаде,
Ступает широкой ногою слона
На скирды людей обмолоченные,
Свайной походкой по-своему
Шагает, шугая, шатается.
От живой шелухи
Поле было ступою.
Друзья моей дружины!
Вы любите белым медведям
Бросать комок тугой пружины.
Дрот, растаявши в желудке,
Упругою стрелой,
Как старый клич „долой“,
Проткнет его живот.
И взвы кричать победе,
Охотником по следу
Сегодня медведей, а завтра ярых людведей.
Людведи или хуже медведей?

Охоты нашей недостойны?
И свиста меткого кремневых стрел?
(Людведей и Синголов войны).
С людведем на снегу барахтаясь,
Обычной жизни страх таись!

Вперед! Вперед! Ватага!
Вперед! Вперед! Синголы!
Маячит час итога!
Порока и святого
Година встала
Ужасной незнакомкою,
Задачу с уравнием комкая,
Чего не следует понять иначе.
Ошибок страшный лист у ней,
В нем только грубые ошибки
И ни одной улыбки.
Те строки не вели к концу
Желанной истины:
Знак равенства в знакомом уравнии
Пропущен здесь, поставлен там.
И дулом самоубийцы железная задача
Вдруг повернулася к виску.
Но Красной Поляны
Был забытым лоскут?
И черепа костью жеманною
Година мотала навстречу желанному.
Случалось вам лежать в печи
Дровами
Для непришедших поколений?
Случалось так, чтоб ушлые и непришедшие века
Были листом для червяка?

Видали вы орлят,
Которым черви съели
Их жилы в крыльях, их белый снежный пух?
Их неуклюжие прыжки взамен полета?
Самые страшные вещи! Остальное — лопух!
Телят у горла месяц вещей?
Но не пришло к концу
Желанной истины в старинном смысле уравниенья
Поклонникам „ура“ быть не может не к лицу.
Прошел гостей суровый цуг,
Друзей могилы.
Карогаго солнца лучи.
Сколько их? Восьмеро?
Плывут в своей железной вере?
Против течения страшный ход.
Вы очарованы в железный круг —
Метать чугунную икру.
Ход до смерти — суровый нерест
Упорных смерти женихов,
Войны упорных осетров,
Прибою поперек ветров.
То впереди толпы пехот —
Колчак, Корнилов и Каледин,
В волнах чугунного Амура,
Осоками столетий шевеля,
Вас вывел к выстрелам обеден,
Столетьем улыбаясь Дуров.
Когда блистали шашки не ловки и ловки,
Богов суровых руки играли тихо в шашки,
Играли в поддавки.
Шатаясь бревнами из звука,
Шагала азбука войны.

На них бывало я
Сидел беспечным воробьем
И песни прежние чирикал,
Хоть смерти маятники тикали.
Вы гости сумрачных могил,
Вы говор струн на Ка,
Какому голоду оков,
Какому высушенному озеру
Были в неудачной игре козыри?
Зачем вы цугом шли в могилу?
Как крышка кипятка,
Как строгий пулемет,
Стучала вслед гробов доска,
Где птицей мозг летел на туловище слепой свободы.
Прошли в стране,
Как некогда Ругил,
Вы гости сумрачных могил!
И ровный мерный стук — удары в пальцы кукол.
То смерть кукушкою кукукала,
Перо рябое обнаружив,
За сосны спрятавшись событий,
В именах сумрачных вождей.
Кук! Ку-кук!
Об этом прежде знал Гнедов.
Пророча сколько жить годов,
Пророча, сколько лет осталось.
Кукушка азбуки в хвое имен закрыта,
Она печально куковала.

Душе имен доступна жалость
Поры младенческой судьбы народов кукол
Мы в их телах не замечали.

Могилы край доскою стучал.
А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося „Люли“
Через окопы и за пули.
Там жили колословы,
Теперь оковолы.
Коса войны, чумы, меча ли
Косила колос сел,
И все же мы не замечали
Другие синие оковы,
Такие радостные всем.
Вы из земли хотели Ка,
Из грязи, из песка и глины,
Скрепить устои и законы,
Чтоб снова жили властелины.
А эта синяя доска,
А эти синие оковы
Грозили карою тому,
Кто не прочтет их звездных рун.
Она небесная глаголица,
Она судебныхников письмо,
Она законов синих свод,
И сладко думается и сладко волится
Тому, их клинопись прочесть кто смог.

Холмы, равнины, степи!
Вам нужны голубые цепи?
Вам нужны синие оковы?
Они—в небесной вышине!
Умей читать их клинопись
В высоких небесах.
Пророк, бродяга, свинопас!
Калмык, татарин и русак!

Все это очень, очень скучно,
Все это глухо и не звучно.
Но здесь других столетий трубка,
И государств несется дым.
И первая конная рубка
Юных (гм! гм!) с седым.

Какая-то колода, быть может человечества,
Искала Ка, боялась Гэ!
И кол, вонзенный в голь,
Грозил побегом первых воль,
Немилых кололобым.
Но он висел небесный кол,
Его никто не увидал,
И каждый отдавался злобам.
А между тем миры вращались
Кругом возвышенного Ка.
И эта звездная доска —
Синий злодей —
Гласила с отвагою светской:
Мы в детской
Рода людей.

Я кое-как проковыляю
Пору пустынную,
Пока не соберутся люди и светила
В общую гостиную.
О синяя! В небе, на котором
Три в семнадцатой степени звезд,
Где-то я был там полезным болтом.
Ваши семнадцать лет, какую звездочкой сверкали?
Воздушные висели трусики,

Весной земные хуже лица.
Огонь зеленый — ползет жужелица,
Зеленые поднявши усики,
Зеленой смертью старых кружев
Сквозняк к могилам обнаружив.
В зеленой зелени кроты
Ходы точили сквозь листья.
„Проворнее, кацап!
Отверженный, лови“.
Кап, кап! кап!
Падали вишни в кувшин:
Алые слезы садов.
Глаза, как два скворца в скворешнице,
На ветке деревянной верещали,
Она в одежде белой грешницы,
Скрывая тело окаянное,
Стоит в рубашке покаянной.
Она стоит живая мученица,
Где только ползала гусеница,
Веревкой грубой опоясав,
Как снег холодную сорочку,
Где ветки молят солнечного спаса,
Его прекрасные глаза, —
Чернил зимы не ставит точку:
Суровой нищенки покров.
А ласточка крикнет „цвить“!
И мчится и мчится веселью учиться!

Стояла надписью Саяна
В хребтах воздушной синевы,
Лилось из кос начало пьяное
Земной, веселый, грешный хмель.

Над нею луч порой сверкал,
И свет божественный сиял,
И кто-то крылья отрубал.
Сегодня в рот вспорхнет вареник,
В веселый рот людей — и вот
Вишневых полно блюдо денег,
Мушиный радуется сход,
Отметив скачкой час свобод.
Белее снега и мила
Она воздушней слова панны,
Она милей, белей сметаны.
Блестя червонцами менял,
Летали косы как ужи
Среди взволнованных озер,
Где воздух дик и пышен.
„Раб! Иди и доложи,
Что госпожа набрала вишен.
И позови сюда ковер“.
Какой чахотки сельской грезы
Прошли сквозь очи как стрела,
Когда, соседкою ствола,
Рукою темною рвала
С воздушных глаз малиновые слезы?

Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой.
И самые хитрые мысли ученых голов:
Граждане мозга полов и столов,
Их разум оболган.

Быть может то был общий заговор
И дерева и тела.
Отвага глаза, ватага вер
И рядом вишневая розга,
Терновник для образа несшая смело.
Но честно я отмечу — была ты хороша.
Быть может в эти полчаса
Во мне и [в н]ей вселенская душа
Искала, отдыхая, шалаша.
И возле ног могучих, босых,
Устало свой склонила посох.
Искала отдыха, у темени
Ручей бежал земного времени.
В наборе вишен и листвы,
В полях воздушной синевы,
Где ветер сбросил пояса,
Глаза дрожали — черная роса.
Зеленый плеск и переплеск —
И в синий блеск весь мир исчез.

П Р И М Е Ч А Н И Я

О ПРИНЦИПАХ ИЗДАНИЯ

Приготовляя к печати 1-й том произведений В. В. Хлебникова, я не только не мог рассчитывать на тип полного собрания сочинений, но и не считал его целесообразным. Задача настоящего издания — показать Хлебникова „во весь рост“, дать его совершенные и законченные произведения, разрушить традиционное представление о нем как об авторе набросков и экспериментов. Такой Хлебников будет нов и нужен современности. Перегрузка незаконченными вещами, черновыми вариантами, не говоря уже о технической невыполнимости, сделала бы его малодоступным широкому читателю.

Кроме того претендовать в настоящее время на какую-либо „полноту“ невозможно, так как вероятно более половины рукописей находится в разных руках¹.

Неизвестна судьба почти всех вещей, написанных Хлебниковым за 1914—18 годы. Возможно, что многие из них безвозвратно погибли. Но даже количество находящихся в моем распоряжении или известных материалов и неизданных рукописей настолько велико, что опубликовать их полностью в одном-двух томах невозможно. Вместе с тем большинство напечатанных в разное время произведений Хлебникова рассеяно по сборникам, которые стали библиографической редкостью. Эти рассеянные по разным сборникам вещи были напечатаны с значительными искажениями и опечатками. Так как большинство этих ранее напечатанных вещей ныне совершенно недоступно, а вместе с тем они представляют огромный художественный интерес, то сюда включены многие ранее напечатанные вещи.

Размер книги не позволил включить в первый том все поэмы и эпические произведения, которые предположено распределить по дальнейшим книгам.

¹ Подробно о рукописях Хлебникова см. мою статью в журнале „На Литер. Посту“ № 22 — 23 за 1927 г. „Наследие Хлебникова“.

Столь же условен и самый принцип жанрового отбора поэм, потому что многие произведения Хлебникова могут быть так названы лишь в силу неопределенности и широты этого термина. Вернее было бы назвать этот том „эпическими произведениями“.

Огромное большинство поэм Хлебникова (16 из 21) печатается здесь по его рукописям, что позволяет дать наиболее точный текст. Некоторые рукописи часто недостаточно обработаны или неразборчивы.

Наибольшую трудность представляли вопросы членения на фрагменты и пунктуация.

Имея в виду широкого читателя, для которого чтение повмы в 300—400 строк без графической разбивки ее на части очень утомительно, и исходя из обычно принятых Хлебниковым композиционных членений смысловых разделов и из характера почерка, Редакция сочла возможным разбить графически поэмы на большие фрагменты, не нарушая композиционного смысла произведений.

Не менее сложен и вопрос о пунктуации.

Хлебников во всех вещах (даже в ранних) пунктуацию употреблял большей частью общепринятую, но недостаточно тщательно, пропуская знаки в самых явных случаях и, наоборот, ставя лишнюю точку или запятую в конце строки. Понимая необходимость сохранения хлебниковского синтаксиса, всегда очень своеобразного, я в случаях наиболее несомненных все же восстановил пунктуацию. Следует вспомнить о том, что часто пунктуация у поэтов зависит от корректора, т. к. многие сдают свои стихи в печать почти без знаков. Пунктуация же вещей, напечатанных при жизни Хлебникова,— обычно результат произвола наборщиков.

Все наиболее необходимые объяснения, датировка поэм, варианты (а также разъяснение некоторых слов) мной отнесены к примечаниям— правда, очень скупым и неполным.

Расположены поэмы лишь в приблизительно хронологическом порядке, так как точное время написания многих из них, в особенности ранних вещей, мне пока установить не удалось; вещи же последних лет часто писались почти одновременно.

Так как помещенные в этом томе поэмы распадаются по вре-

мени написания на два периода—с 1907-8 по 1913 и с 1919 по 1922, а вещи с 1914 по 1917 гг. отсутствуют, то я разделил поэмы сообразно этим периодам на две части.

Из всего числа поэм 10 печатаются в первые по рукописям Хлебникова: „Царская невеста“, „Повт“, „Три сестры“, „Лесная тоска“, „Разин“, „Ночь перед Советами“, „Ночной обыск“, „Синие оковы“, „Переворот во Владивостоке“, „Труба Гуль-муллы“; две поэмы с значительными дополнениями и исправлениями по рукописям: „Уструг Разина“ и „Ладомир“¹; четыре поэмы исправлены и прокорректированы по рукописям: „Мария Вечора“, „Шаман и Венера“, „Гибель Атлантиды“ и „Хаджи-Тархан“, и пять печатаются по ранее напечатанному тексту без сверки с рукописями (из-за отсутствия их): „Журавль“, „И и Э“, „Ви́ла и Леший“, „Сельская дружба“, „Ночь в окопе“. За все дополнения и указания Редакция будет очень обязана. Так как в настоящее время мной продолжается подготовка к печати произведений Хлебникова (стихов, прозы, поэм, статей и писем), то я прошу всех, имеющих рукописи, материалы или сведения о них, сообщить, каким образом возможно использование их.

Долг современников—и в первую очередь людей, близких Хлебникову—собрать воедино его наследие².

¹ Эта поэма печатается по литографии с рукописными поправками Хлебникова, лишь недавно выпущенной „группой друзей Хлебникова“.

² Основной рукописный фонд настоящего издания составили рукописи, хранящиеся у П. В. Митурича и В. В. Хлебниковой; часть рукописей была получена от М. В. Матюшина. В издании учтено, помимо печатных источников, литографированное издание „группы друзей Хлебникова“—„Неизданный Хлебников“, под редакцией Крученых.

Всем упомянутым лицам, а также Н. О. Коган, А. Крученых, Р. П. Аби́ху, Г. Н. Петникову, Б. К. Лившицу, В. А. Гофману и Б. Я. Бухштабу, помогшим своими материалами и ценными указаниями, Редакция выражает благодарность.

Материалы прошу направлять по адресу: Ленинград, пр. К. Либкнехта, 98, кв. 32. Н. Л. Степанову.

1. Поэма „Мария Вечора“ напечатана во 2-м „Садке Судей“, вышедшем из печати в 1912 г. Материал для него собирался в 1911—12 гг. По стилю и „жанру“ можно думать, что „Мария Вечора“ (как и „Лесная Дева“ или „Алчак“) принадлежит к ранним вещам В. В. Возможно, что написана она в 1907—8 гг. Эту догадку подтверждает и редактор-издатель „Садка“ М. В. Матюшин. Вторично „Мария Вечора“ напечатана в „Изборнике“ стихов В. Хлебникова (СПб. 1914) с значительными сокращениями. Здесь „Мария Вечора“ печатается по рукописи Хлебникова, представленной им для 2-го „Садка Судей“. Интересна подпись: „Вадим Хлебников“, ассоциирующаяся с романтическими, балладными традициями.

Написана поэма без деления на фрагменты.

Основанием для этой поэмы послужил трагический роман эрцгерцога Рудольфа и баронессы Марии Вечера. Они были найдены в охотничьем замке мертвыми.

2. Поэма „Царская невеста“ печатается впервые по рукописи. Эта поэма повидимому предназначалась для 2-го „Садка Судей“, следовательно передана была Хлебниковым М. В. Матюшину не позднее 1912 года. Напечатана не была, т. к. по просьбе Хлебникова вместо нее были напечатаны стихи одиннадцатилетней девочки, посланные Хлебниковым из Астрахани. Так же как и „Марию Вечора“, ее вероятно следует отнести к вещам 1907—8 гг. Название поэмы написано следующим образом: „Царская невеста [княжна Долгорукая]. XVI столетие“. Слова „княжна Долгорукая“ зачеркнуты.

В 3-м фрагменте после стиха „Ее не спящую спросив“ зачеркнуты два стиха. Второй из них оставлен без замены и в тексте показан многоточием. Было: „Нет, щепкой ты не станешь, нет!“.

Возможно, что весь последний фрагмент со стиха: „Исчезли со дна вздохи“ — лишь вариант конца, каким может являться предшествующее ему четверостишие.

3. Поэма „Журавль“ напечатана в 1-м „Садке Судей“ (вышел из печати в 1910 г.¹, готовился и собирался М. В. Матюшиным, В. Каменским и Д. Бурлюком в 1909—10 гг.). В 1-м „Садке Судей“ напечатано было лишь начало поэмы, кончая стихом: „В союз спешащие вступить с вещами“. Конец помещен в „Творениях“ (изданных в 1914 г.). В „Садке Судей“ поэма названа „Журавль“. В „Творениях“ конец поэмы озаглавлен „Восстание вещей“. Учитывая время собрания 1-го „Садка“ — 1909 — 10 гг. — и посвящение В. Каменскому, с которым В. В. тогда познакомился, можно считать, что „Журавль“ написан приблизительно в это же время, т. е. в 1908 — 9 г., во всяком случае не позднее 1910 г.

Г и е р а т и ч е с к и й с т и х — священный стих.

Я г е л ь — лишай, мох.

С к о л о т — сколота (?) — смута, смятения (Кенингсбергская летопись).

Г о л ь ч е — от голка (?) — шум, крик (стар.); голчистый — громкий, шумный.

4. Поэма „И и Э“ напечатана в сборнике „Пошечина общественному вкусу“. Сборник собирался в 1912 г., а вышел из печати в январе 1913 г.

Поэма написана не позже 1912 г., но так как в сборнике помещены старые вещи В. В. („Девий бог“) и рядом с „И и Э“ напечатаны „Змеи поезда“, помеченные 1910 г., то скорее всего следует ее отнести к более раннему времени, может быть к 1910 г. Печатается без изменений по тексту сборника.

Объяснение к поэме дано самим В. Хлебниковым в послесловии:

П о с л е с л о в и е

Первобытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной.

Шестопер — это оружие, подобное палице, но снабженное железными или каменными зубцами. Оно прекрасно рассекает

¹ См. В. Каменский „Его — моя биография“ (М., 1918 г.); он указывает, что 1-й „Садок Судей“ вышел в марте 1910 г.

череп врагов. Зой — хорошее и еще лучше забытое старое слово, значащее эхо.

Эти стихи описывают следующее событие середины каменного века. Ведомая неясной силой, И покидает родное племя, Напрасны поиски. Жрецы молятся богу реки, и в их молитве слышится невольное отчаяние. Скорбь увеличивается тем, что следы направлены к соседнему жестокому племени; о нем известно, что оно приносит в жертву всех случайных пришельцев. Горе племени велико. Наступает утро, белохвост приносит рыбу; проходит лесное чудовище.

Но юноша Э пускается в погоню и настигает И; происходит обмен мнениями. И и Э продолжают путь вдвоем и останавливаются в священной роще соседнего племени. Но утром их застают жрецы, уличают в оскорблении святынь и ведут на казнь. Они вдвоем, привязанные к столбу, на костре. Но спускается с небес Дева и освобождает пленных.

Из старого урочища приходит толпа выкупать трупы.

Но она видит их живыми и невредимыми и зовет их княжить.

Таким образом, через подвиг, через огонь лежал их путь к власти над родными.

5. Повесть „Гибель Атлантиды“ напечатана во 2-м „Садке Судей“ (1912 г.). Судя по стилю и почерку написана около 1909—10 гг., не позже 1911—12 гг. Печатается по рукописи.

Заглавие „Гибель Атлантиды“ повидимому третье; сначала было: „Потоп Острова“, затем оно зачеркнуто и сверху приписано: „Гибель Атлантов“; снова зачеркнуто и под первым написано: „Гибель Атлантиды“.

6. Повесть „Шаман и Венера“ напечатана во 2-м „Садке Судей“, следовательно написана не позже 1911—12 гг.

Здесь печатается по рукописи, присланной Хлебниковым для напечатания в „Садке“. Выправлены опечатки, и переставлены некоторые фрагменты, которые при наборе были перепутаны. Фрагменты в [] приписаны на полях, но повидимому должны входить в основной текст.

7. Поэма „Хаджи Тархан“ напечатана в сборнике „Трое“— П., 1913 г. Написана не позднее 1911—12 гг. Здесь печатается по рукописи В Хлебникова.

Привожу некоторые варианты, не вошедшие в текст:

После стиха „Устав разгулом и торговлей“ зачеркнуто карандашом пять строк:

Мелькает юная татарка,
Проходит сонный армянин.
И сквозь окно сверкает чарка,
Пылает взгляд красавиц жарко,
То вечеряет семьянин.

После стиха „Рукой огневою начертим мы смех“ в рукописи зачеркнуто 7 стихов:

В море столкнувши все толпы утех.
Рок нам не страшен. Нам буря мала.
Крыло наше двойственный мир пересекло.
Предков надежды вот кость у крыла.
Как духи добра низвергаемся в пекло
Пусть знают: нами север занят
Пускай цветок земли завянет.

Хаджи — святой пилигрим.

Тархан — кузнец, по Далю — художник или мастер (монгольск.).

Богдо — гора в Астраханской губ., в Киргизской, степи на левом берегу Волги, по преданию насыпанная святым. Богдо — по-монгольски святой.

Хурул — село на р. Черепaxe в дельте Каспия.

Игла Сумбеки — древняя башня в Казани, построенная татарской царицей Сумбекой для охраны Казани.

Хвалынский — против Хвалынска Волга сильно расширяется, и посреди нее имеется большой остров Сосновый. На этом острове в 1550 году было русское укрепленное поселение Сосновка. Там велась торговля хлебом, и оттуда боролись с кочевниками. В XVIII веке русские переселились на материк, Вероятно об этом и упоминает Хлебников.

В о л ы н с к и й, Артемий Петрович (1689 — 1740 гг.)—государственный деятель, был начальником Киргизского края („И в звуках имени Хвалынского живет доныне смерть Волынского“) позже боролся с Бироном и немецким влиянием, за что был предан пытке и казнен; обезглавленный труп его возили по городу.
Л о х — дикая маслина.

М ы т — место линьки птиц, старинное русское слово.

8. Поэма „В и л а и Л е ш и й“ напечатана в сборнике Хлебникова „Ряв“, изд. „ЕУЫ“ („Перчатки 1908 — 14 гг.“). Датирована 1913 г.

Здесь печатается по тексту, данному в „Ряв“, но по моей разбивке, так как в „Ряве“ она была напечатана с соединением двух стихов в одну строку из-за экономии места. Издатель и редактор А. Крученых в письме подтвердил это, сообщив, что рукопись пропала. Поэтому как разбивка на стихи, так и некоторые поправки мои предположительны.

С о й — племя.

М е д ж е д х е т — краска для глаз и лица у древних египтян.

9. Поэма „С е л ь с к а я д р у ж б а“ напечатана в сборнике „Молоко кобылиц“, М. 1914.

Так как в этом сборнике напечатаны лишь старые вещи „Песнь Мирязя“ (1907 г.) и „Алферово“ (1910 г.), то можно думать, что поэма написана до 1914 г.

П е н я з ь — древнерусское название монеты.

10. Поэма „П о э т“, или „В е с е н н и е с в я т к и“, печатается впервые по рукописи, написана 16 — 19 октября 1919 г. (дата Хлебникова). В своих записях Хлебников называет поэму то „Весенние святки“, то „Русалка и поэт“. Повидимому черновая, не окончательная редакция.

11. Поэма „Т р и с е с т р ы“ печатается впервые по рукописи, датирована Хлебниковым: 30 марта 1920 года. Другой вариант, значительно сокращенный, был литографирован в нескольких

экземплярах в Харькове в 1920 году. Здесь дан текст более полного рукописного варианта. В литографированном тексте не только изменены самые строки, но иной порядок многих фрагментов.

12. Поэма „Лесная Тоска“ печатается впервые по рукописи. Судя по месту в черновом „Гроссбухе“ написана в 1920—21 г. Написана со многими поправками и вариантами; некоторые варианты заключены в [], остальные не включены в основной текст.

В и л а — нимфа, речная богиня у сербов, отличающаяся необыкновенной красотой.

К р у ч е н н ы й п а н ы ч — вьющееся растение (украинск.).

Л я — призыв к действию (?).

13. Поэма „Ночь в окопе“ печатается по печатному тексту, изданному в 1921 году („Ночь в окопе“, Имажинисты, 1921 г.)

Местонахождение рукописи неизвестно. Поэма была напечатана с большим количеством опечаток (возможно и пропусков).

Среди черновых записей и набросков в „Гроссбухе“ 1919—21 гг. нет никаких указаний на „Ночь в окопе“ кроме упоминания о ней при перечислении готовых вещей. Поэма могла быть написана, вероятнее всего, в 1919 или 1920 году.

14. Поэма „Ладомир“ датирована Хлебниковым 22 мая 1920 г. Литографированный оттиск вышел 13 июля 1920 г. Первоначально в Харькове в 1920 г. она была литографирована в нескольких экземплярах с рукописи Хлебникова. Другой вариант был напечатан в „Лефе“ (№ 2, 1923 г.). Здесь „Ладомир“ печатается по литографированному изданию, исправленному Хлебниковым и недавно опубликованному в литографированном издании А. Крученых в IV сб. „Неизданного Хлебникова“.

Сокращения сделанные Хлебниковым взяты в [], т. к. есть предположение, что они им сделаны по издательским сообра-

жениям того времени. П. В. Митурич указывает на то, что Хлебников перечитывая „Ладомир“ в первоначальной редакции, решил его не сокращать. Стилистические поправки, сделанные Хлебниковым, все здесь восстановлены. Многие части „Ладомира“ писались отдельно: так, „Туда, туда, где Изанаги“ написано в 1919 г., начало частично входит в черновые наброски поэмы „Восстание“.

„Ладомир“ — одна из наиболее важных „философических“ вещей Хлебникова. Привожу некоторые разъяснения, предложенные П. В. Митуричем:

И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.

Космические пути земли и звезд осознаны Н. И. Лобачевским в его „воображаемой геометрии“. Мятёж Разина увлекает мятежные замыслы математики — тема, к которой неоднократно возвращался Хлебников, настаивая на мятеже мысли и науки, неотделимом от политической революции.

Лобачевского кривые украсят города.

Развитие техники и науки создаст новые формы человеческого существования, в частности новые города из стальных клеток с стеклянными комнатами, о чем Хлебников мечтал еще в 1910—11 гг. и подробно писал тогда же в своей утопии „Города будущего“ (не издано). Это же разъясняет и образ: „Стеклянный колокол столиц“.

Из камней ударов сердца

„Удары сердца“ — для Хлебникова ритм дыхания, естественная единица времени в нашем быту и науке.

И умный череп Гайаваты
Украсит голову Монблана.

Г а й а в а т а (герой индейского эпоса) — для Хлебникова символ первобытной мудрости. Земля со времен Гайаваты мечтает

об объединении народов в общую семью. Вот почему Европа украсит черепом Гайаваты свою вершину.

И к онсам мчатся вальпарайсы,
К ондурам бросились рубли.

По словам П. В. Митурича, здесь речь идет об Америке, о хищниках капитала, к которым „бросились рубли“ — золото во время европейской войны.

После стиха „На приступ на престолы“ Редакцией не включены в текст два стиха, зачеркнутые самим В. В., т. к. они кажутся ей повторением:

И шумно трескались гробы
И падали престолы.

Г у р р и э т - э л ь - А й н — персидская революционерка — см. примечание к „Трубе Гуль-муллы“.

Д з о н к а в а — реформатор буддизма.

Р а к л ы — негодяи, бродяги (южно-русск.).

Г а л а х и — крикуны, шумная толпа; галачить — браниться.

К о к о р н и — корчаги, затонувшие деревья.

Б а л д а — большой молот.

К у в а л д а — молот.

К и ю р а — молот каменотеса.

О н с ы — *onza* (онса) — монета, введенная в Испании Филиппом III (XVII в.), была в ходу в Испании и Южной Америке до Наполеона (указано Д. Выгодским).

В а л ь п а р а й с о — порт в Чили, где производится торговля предметами роскоши.

О н д у р ы — жители южно-американской республики Ондурас (Honduras).

И з а н а г и — один из японских богов, дух воздуха.

Ц и н т е к у а т ь — *Chicomescuatl* (?) — майсовая богиня древних и Майя (?).

М о н о г а т о р и — японский рыцарский роман.

М а а - Э м а — повидимому полинезийское божество (?).

Ш а н г т и — „Верховный владыка“ у китайцев (шанди).

Т и э н — небо, по-китайски (тянь)¹; бог неба (?).

И н д р а — индийский бог, повелевающий ветрами.

У н к у л у н к у л у — верховный бог Амазулу (Южная Африка), в переводе означает: „очень, очень старый“. (Сообщено Д. А. Ольдерогге).

Т о р — бог грома в скандинавской мифологии.

Х о к к у с а й — художник японского средневековья.

15. Поэма „Р а з и н“ написана 2 июля 1920 г. (в других записях помечено иначе: „Разин I“ 15/VI — 11/VII 1920 г. Хлебниковым назван: „Разин в обоюдотолкуемом смысле“. Печатается впервые по рукописи. Уже во время печатания Редакцией был получен другой вариант поэмы от А. Крученых. Хотя этот вариант представляется более окончательным, но технические причины не позволили изменить текст. Кроме того вариант, напечатанный здесь, совершенно равноправен, т. к. он окончен, в то время как в рукописи А. Крученых утерян конец. Настоящий текст длиннее и полнее. Написана поэма „перевертнем“, т.-е. читается одинаково слева направо и справа налево. Хлебников писал перевертню и раньше, но там это имело „опытный характер“. Здесь же идея Разина в „обоюдотолкуемом смысле“, т.-е. сопоставление судьбы Разина и своей („Я Разин со знаменем Лобачевского логов“), обусловила, по мысли Хлебникова, „обоюдочитаемость“ поэмы. В варианте подзаголовков: „Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь“. Неясность отдельных фрагментов легко уясняется из заголовков „Путь“, „Пытка“ и т. д.

В разных местах Хлебниковым зачеркнуты отдельные строчки и небольшие фрагменты, по большей части повторения.

К у п а в ы — водяное растение, лопушник.

О с о л о п — дубина, палица.

К а т — палач.

Ч у м — ковш.

М а р а м — мара — мечты, мар — туман, мгла (?).

¹ Хлебников употребляет китайские слова во французской транскрипции (?).

К о д о л — вериги, путы.

О х о х о н и — ханжи, название секты раскольников (?).

Ч е р е с — кошель с поясом.

К у к у я — осенняя шкура лося.

К и г и — чайка.

16. Поэма „Ночь перед Советами“ печатается впервые по рукописи. Датировать рукопись затруднительно, т. к. указаний на время ее написания я не имею.

Судя по смыслу (уход белых) и по типографскому адресу на бумаге „Ростов-на-Дону“ (листы, вырванные из бухгалтерской книги), скорее всего можно предположить, что поэма написана в 1920 году или около этого времени в Ростове, где тогда мог быть Хлебников.

Первоначально поэма названа была: „Ночь перед Рождеством“, и карандашом переправлено на „Ночь перед Советами“.

17. Поэма „Труба Гуль-муллы“ писалась Хлебниковым в течение 1921 г. в Персии и на Кавказе. Это описание его пребывания в Персии. В „Гроссбухе“ много отдельных набросков и фрагментов. Доработана поэма Хлебниковым, видимо, не была; поэтому текст многих мест окончательно установить почти невозможно, так он облоился помарками, приписками и вариантами. Здесь дана наиболее вероятная конъектура.

Г у л ь - м у л л а — священник цветов ¹.

К 1. „К у р с к“ — пассажирское судно.

К 3. „Г у р р и е т - Э л ь - А й н“ („услада глаз“) — известная поэтесса Персии, жившая в царствование Наср-Эд-Дин-Шаха. В своей поэзии и учении выступала против существовавшего режима и положения женщины. Наср-Эд-Дин предложил ей стать его женой. Она дерзко отклонила предложение, говоря, что пре-

¹ Примечания к „Трубе Гуль-муллы“ составлены Р. П. Абигом.

зирает человека, уподобляющегося животному, имеющему 500 жен. По приказанию Наср-Эд-Дина, Гурриэт-Эль-Айн была зарыта живою, а не „сама затянула на себе“ „концы веревок — подарок лука шаха“.

Возможно, что так было рассказано Хлебникову, так как о Гурриэт сложилось много легенд.

Т а х и р э — второе имя Гурриэт-Эль-Айн.

К 7. В о р о н ь и я й ц а — беднота в Персии употребляет в пищу. Продаются на базаре по шаю штука.

Ш а й — мелкая, алюминиевая монета = $1/2$ копейки.

К 8. К уд р и р о с к о ш и с и н е й и т. д. Головные уборы курдов-воинов, состоя в основе из войлочной большой (опрокинутый горшок) шапки, обматываются цветными платками. Чем больше платков навязано, тем выше чин. Такие же платки обвязываются вокруг живота.

К р а с н ы х я й ц с к о р л у п а. — Персы красят яйца только с одного бока и всегда малиновокрасным. Религиозный обычай.

К 9. В и н о м з а п е ч а т а н н ы м... ж е н ы ч е р н ы е ш л и. — Хлебников словесно оформил восприятие персидской женщины по внешнему облику. Персиянки носят „чадор“ — покрывало.

Для горожанок оно обычно черное, закрывающее всю фигуру с макушки до пяток. На глаза надевается белое покрывало с решеточкой из ниток (мережкой) — рубандэ.

Издали впечатление бутылки с белой печатью наверху.

К 10. Г о л ы е ш а р ы ч е р е п о в. — Хлебников имеет в виду манеру персов выбривать лоб; некоторые даже пробривают до макушки, так что получается искусственная лысина.

Речь идет о „прокаженных женах“ с точки зрения мусульманской морали — о проститутках.

К 11. Т и р а н б е з Т е — Иран, название Персии.

Р е и с т у м а м д о н ь я — неправильно транскрибированное Хлебниковым. Нужно „Рэис темам-э-донья“, что значит „началь-

ник всего мира“ — так Хлебникову перевели на персидский „председатель земного шара“.

Д ж и - д ж и — виноградная водка.

А л и — племянник и зять Магомета должен был, по указанию пророка, заместить его после смерти. Некоторые группы персов почитают Али больше, чем Магомета, полагая, что Аллах намечал в пророки Али, и лишь случайно на долю Магомета выпала роль пророка

В белом белье ходят ханы... По большей части персы в Гиляне ходят в белой, из бумажной материи сшитой, одежде. В России из подобных тканей шьют белье.

Ш и р é — наркотическое средство, составляемое из смеси перагара опиума или териака с гашишом.

К 12. Весь отрывок посвящен прогулкам Хлебникова по берегу Каспийского моря и залива Морд-Аб (мертвая вода) в районе гор. Энзели. Числясь лектором политотдела персидской Красной армии, к весне Хлебников испросил разрешение поехать в Энзели. К этому времени Хлебников продал на базаре свой сюртук, в котором он приехал из Баку. Оставшись без сюртука, без шапки, без сапог, в мешковой рубахе и таких же штанах, надетых на голое тело, он имел вид оборванца-бедняка. Однако длинные волосы, одухотворенность лица и облик человека не от мира сего привели к тому, что персы дали ему кличку „дервиш“ (странствующий монах).

К 13. Д е р в и ш у р у с — русский дервиш.

К 14. Косматый лев, с глазами вашего знакомого... — Весь отрывок — образное описание персидского государственного герба, который часто служит мотивом для рельефных, облитых цветной глазурью, кирпичей (изразцов). Изразцами в Персии украшается большинство домов состоятельных владельцев.

На гербе изображается лев с поднятой сверху передней правой лапой. В лапе кривой меч, острием кверху. На спине льва изображение солнца в виде женского лика, от которого бегут лучи.

К 15. Хлебников описывает период с июня по август 1921 г., когда он, совместно с группой революционных войск во главе с Эхсанулла Ханом (глава революционного движения в Гиляне), отправился в поход на Тегеран, через провинцию Мазендеран. Сюда (в сел. Шахсевар) Хлебников прибыл в начале июля и поселился вместе с художником Доброковским М. В.

Хлебников бродил по берегу и купался. Писал на клочках бумаги стихи. Делал сложные математические вычисления для „Досок Судьбы“.

З а р д е ш т (Зардушт) — персидское произношение имени Заратустры.

К 16. Хлебников может быть изображает здесь сухостойное дерево, которое в пустынной местности заменяет чай-ханэ.

К 17 и 18. — 17 и 18 отрывки посвящены описанию отступления из Шахсевара.

События развернулись так, что главком (Саод-Эд-Доуле) революционных войск, шедших на Тегеран, изменил. Наряду с изменой на фронте Саод-Эд-Доуле в тылу разоружил работников штаба и его охрану.

Утром 25 июля сторонники Саод-Эд-Доуле напали на помещение, где находилась охрана и жил Хлебников с Доброковским.

К вечеру того же дня часть штаба, не перешедшая на сторону шаха, с Хлебниковым, Доброковским и др. двинулась к Рудессеру.

Первый день отступления до первой ночевки Хлебников шел в ногу с другими, но на утро стал отставать, зная, что его могут настичь шахские казаки, которых ждали отступающие. Несколько предупреждений не убедили его идти с отрядом, и наконец В. В. пошел в сторону от берега моря (по которому отступали) вглубь, мотивируя тем, что „в ту сторону полетела интересная ворона, с белым крылом“. Так В. В. и отстал от отряда. Только через день, когда отряд отдохнул в Рудессере и уже погрузился на киржимы (плоскодонные лодки) для отплытия в Энзели, в песчаных далях берега замаячила высокая фигура Хлебникова.

Киржимы не отплыли... На следующее утро захваченный отступавшими пароход „Опыт“ принял на борт отряд, вместе с ним Хлебникова, и доставил всех в Энзели.

Пуль — деньги.

Кардаш — товарищ.

„Троцкий“ — канонерская лодка.

„Роза Люксембург“ — наливное судно.

К 19. Киржим (правильно „керджи“) — высокобортная плоскодонная лодка.

В Энзели Хлебников провел несколько дней, затем уехал с группой товарищей в Баку.

18. Поэма „Уструг Разина“ печатается полностью по рукописи впервые. (В „Лефе“, № 1, 1923 г., был напечатан с пропуском более чем четверти стихов из разных мест повмы, что редакцией не было оговорено).

Закончена поэма скорее всего в 1921 году, хотя черновые варианты в „Гроссбухе“ записаны рядом с вещами 1920 и 1919 гг. На самой рукописи имеется подпись „В. Хлебников“ и адрес, написанный его рукой: „Мясницкая, Хутомас 21, кв. 39“, из чего можно заключить, что окончательная редакция текста сделана была во 2-й половине 1921 года уже в Москве. Поэма написана разборчиво и без помарок. Первоначальных набросков очень много, из них привожу наиболее самостоятельные. (Один фрагмент напечатан в журнале „На Литературном Посту“, М., 1927 г., № 22-23).

Эти кудри темной глины 1
Ветер веял и лелеял,
Будто конский скок в пустыне
Кости древних стран развевал.

А ветер мечет чет и нечет, 2
И буря ласточкой щебечет,
В неясном говоре скрывая
Одно невысказанное слово,

Точно святыню богослова
Меж мусульман скрывая.
А волны носятся вдали,
Чаруясь небесами,
Так головы зарезанных Али
Смотрели мертвыми глазами.
Шептали чистыми устами
Любимцу бога! — палачу —
Слова священные: ты бог!
И ласково скользили по мечу —
И умирали возле ног.
И шелк волос, что горем тепел,
С земли навеки отлетевший
Шевелит ветер точно пепел,
В огне заснуть не захотевший.
Казненных жалоба была:
Али-Ала!

(Об Али см. примечание к „Трубе Гуль-муллы“).

Точно крылья у орлана
Зашумели паруса.
Песни грозные горланя,
Шумно хают небеса.

Смоляной костер пылает
На носу и на корме.
Что наш батюшка желает,
Что твист в своем уме?

И когда концы веревок
Рвались бешено из рук,
Он суров, буен и ловок
Подымался на уструг.

Неук — необъезженная лошадь.

19. Поэма „Ночной обыск“ печатается впервые, по рукописи, датированной 7 ноября—11 ноября 1921 года. В записях называется еще и „Переворот Советов“.

В начале поэмы помечено: 7/XI—1921 г.

$3^6 + 3^6$

$3^6 + 3^6$ означает, по разъяснению предложенному П. В. Митуричем, следующее:

„Это формула времени, которая осуществлена в этой поэме. Время от одной смерти до другой, считая единицами — ударами сердца — 18 минут ($3^6 + 3^6 = 1458$ ударов, деленное на минуты — в минуту 81 удар — 18 минут), чтение этой поэмы приблизительно занимает это время“.

В конце после стиха: „Даешь в лоб, что ли?“ зачеркнуто:

Как волны клочья дыма,
Мы горим. Дверь заперта.
Ломай прикладом окно!
Дверь железная,
Окна с решеткой,
Старуха, зловещая Старуха!

20. Поэма „Переворот в Владивостоке“ печатается впервые по рукописи. В записях Хлебникова дважды помечена (один раз под названием „Переворот“): „2/XI-21 — 11/XI-21“. Некоторое сомнение вызывает совпадение последней даты „11/XI-21“ с датой окончания „Ночного обыска“, который иногда называется „Переворот Советов“. „Переворот во Владивостоке“ имеется в трех редакциях.

Рагозы — болотное растение, палочник.

21. Поэма „Синие оковы“ печатается впервые по рукописи, даты нет. Самое название поэмы и автобиографические намеки вначале уясняются из следующего: В 1921 г. Н. Асеев с женой Оксаной Синяковой и сестрой ее, художницей Марией Синяковой, был во Владивостоке. Хлебников был хорошо зна-

ком с сестрами Синяковыми, встречался с ними по их возвращении и на основании их рассказов написал обе эти поэмы („Синие оковы“ и „Переворот в Владивостоке“). Отсюда образ поэта-ловца, с удочкой, и ласточек, приносящих ему известия. Н. Н. Асеев сообщает (по словам А. Крученых), что поэма была написана в начале 1922 г., после его приезда в Москву, когда Хлебников однажды сообщил: „В эту ночь я написал «Синие оковы»“.

Красная Поляна — деревня, дачное место в Харьковской губ., Змиевск. у., где в 1919 г. и раньше бывал Хлебников.

Синголы — китайцы и японцы (?).

Нерест — метание икры.

Куть — задний угол избы, место под полатями.

Объяснение знаков: В целях графического единообразия [] означают: 1) приписки на полях, 2) зачеркнутое Хлебниковым и восстановленное Редакцией и 3) конъектуры, сделанные Редакцией; () — везде Хлебникова.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Биографические сведения	7
О Хлебникове — Ю р и й Т ы н я н о в	17
Творчество Велимира Хлебникова — Н. С т е п а н о в	31
П о э м ы 1907 — 1913	
1. Мария Вечора	67
2. Царская Невеста	71
3. Журавль	76
4. И и Э	83
5. Гибель Атлантиды	94
6. Шаман и Венера	104
7. Хаджи Тархан	115
8. Вила и Леший	122
9. Сельская дружба	135
П о э м ы 1919 — 1922	
10. Поэт	145
11. Три сестры	160
12. Лесная тоска	165
13. Ночь в окопе	174
14. Ладомир	183
15. Разин	202
16. Ночь перед Советами	216
17. Труба Гуль-муллы	233
18. Уструг Разина	246
19. Ночной обыск	252
20. Переворот в Владивостоке	274
21. Синие оковы	283
П р и м е ч а н и я — Н. С т е п а н о в	
О принципах издания	307
Примечания	310